

# Юрий Герман. Операция "С Новым годом!"

Документальная повесть

**ЧЕКИСТУ ГЕОРГИЮ ИВАНОВИЧУ ПЯТКИНУ**

**ПОСВЯЩАЕТСЯ**

В материалах дела нет данных о том, были ли отмечены по достоинству отважные партизаны Кузнецов В.Г., Мишенский А., Тарасов, их умелый и твердый руководитель Пяткин Г.И., скромные патриотки-разведчицы Евдокимова, Смелова, Орлова и Г., чьи настоящие имена не установлены, наконец, Лазарев Александр Иванович, который вложил всю свою душу, полную любви к Родине, при выполнении ответственного задания и погиб впоследствии, совершая с группой отважных диверсию в тылу противника на железной дороге Псков - Карамышево.

Из официального документа

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

Иоганн Готлиб Бингоф в начале собеседования соображал туго, даже имя свое вспомнил не без труда. Впрочем, ранен он не был, и партизанский доктор Знаменский даже самой легкой контузии в нем не приметил, а только лишь с точки зрения науки объяснил, что это у фрица такая травма - по случаю непредвиденного и неожиданного попадания в плен к партизанам. А если сказать проще, то очень немец напуган, думает, что сейчас же его и расстреляют.

- Инга, переведи ему, - велел старший лейтенант Локотков своей сердитой и измученной долгим боем переводчице Шаниной, - переведи про нашу гуманность в отношении военнопленных...

Шанина сказала как положено, но таким тоном, что худо соображавший фельдфебель совсем скис и стал лопотать какой-то вздор, прося снисхождения к своим малолетним детям, которым грозит горькое сиротство.

- Про что он? - спросил Локотков.

Инга разъяснила кратко.

- Хорошо упитанный, - со вздохом отметил Локотков. - И в ранце у него - ты обратила внимание, Шанина? - сало копченое, шнапс, курочка поджаренная, огурчики в бумажке. Аккуратный народ.

Бингоф действительно был хорошо упитанный немец, в сорок втором летом таких еще сохранилось большинство. И выглядел он, что называется, "справным" солдатом: сапоги начищены до зеркального блеска, мундирчик подогнан по фигуре, вся прочая амуниция - с иголочки. Такому бы орать "зиг хайль" и палить из автомата в белый свет, а он вот оказался в плену и плачет жалостно, растирая слезы по жирным веснушчатым щекам.

- Ладно, - сказал Иван Егорович, - надоело. Переведи ему, Шанина, что или по делу говорить будем, или гуманность нашу на после победы оставим. Да переведи с выражением, а то ты словно стоя спишь.

Инга скрутила себе козью ножку, заправила ее страшным черным табачищем, выпустила из маленьких ноздрей курносого розового носика два султана кислого дыма и заговорила на своем прекрасном, классическом немецком языке. Ее речь была длинной и страшной, такой длинной и страшной, что немец успел вначале испугаться почти что до полной потери сознания, но потом совершенно пришел в себя и с предельной ясностью понял, что его жизнь зависит только от него самого и от его полезности этим двум людям - девчонке с насупленным лобиком и русскому Ивану, который смотрел в разбитое окошко полусгоревшей избы на свои русские необозримые поля и леса.

- О да! - воскликнул он патетически, еще не дослушав Ингу. - Да, я буду говорить все, я много знаю, я имею различные важные сведения...

На околице деревни, которую нынче взяли партизаны, ударили пулеметные очереди, Иоганн Готлиб Бингоф на мгновение оживился, но тут же сообразил, что такое освобождение из плена случается только в кино, и заторопился предстать перед своими собеседниками столь им полезным, чтобы они, если станут уходить под натиском превосходящих сил противника, не расстреляли его, а увели живого и здорового с собой для их военной пользы и для его жизнеспасения хоть на Урал, хоть в Сибирь.

Пулеметы трещать перестали, Инга докурила свою козью ножку, а Локотков вынул карандаш и немецкий трофейный календарь и стал записывать то, что рассказывал бывший фельдфебель имперской армии Иоганн Готлиб Бингоф, в прошлом инструктор подрывного дела в разведывательно-диверсионных школах.

В этот прохладный сентябрьский день сорок второго года начальник особого отдела партизанской бригады Локотков впервые узнал о немецких шпионских школах, размещенных в Раквери, в Ассори, в Печках неподалеку от Псковского озера, услышал имена их начальников и заместителей начальников, узнал имя своего прямого противника - майора Краусса, узнал, что диверсанты и разведчики забрасываются в Красную Армию из Пскова непременно через разведшколу за номером 104, и понял, что именно начальники

разведывательно-диверсионных заведений знают то, что желает знать он, старший лейтенант Локотков, и что хорошо бы вдруг совершить невиданно дерзкую, неслыханную операцию: украсть такого начальничка и доставить в Москву.

От самой мысли о покраже крупного и много знающего эсэсовца Локоткову стало жарко, он даже обругал себя за подобные нелепые мечтания, но, несмотря на всю, казалось бы, нелепость мечтаний этого порядка, Иван Егорович не нашел в себе сил вовсе избавиться от них ни сегодня, ни завтра, ни еще через изрядное количество времени, беседуя с действительно много знающим фельдфебелем и записывая его показания.

Иоганн Готлиб Бингоф в лесном партизанском лагере довольно быстро обучился обиходным словам, вроде "Гитлер - капут", чем завоевывал дивно отходчивые русские сердца, а когда партизаны били для пропитания скотину, учил их делать кровяную колбасу - работал он когда-то поваром, а кроме того, умел стричь, даже очень проржавевшими ножницами, чем тоже снискал некоторую популярность среди партизанской молодежи, еще думающей о своей наружности. Впрочем, свободного времени у рыжего фрица было немного, потому что Иван Егорович с ним занимался очень подолгу, иногда часов по десять, изучая, конечно, не зауряднейшую личность Иоганна Готлиба, а его бывшую профессию, от которой тот был отстранен за склонность к выпивке и болтовне и за "общительность" нрава - короче говоря, за свойства натуры, несовместимые с преподаванием в заведениях, подобных разведывательно-диверсионным школам.

Самолета с Большой земли долго не было, бригада засела в лесу, среди болот, лили проливные, ровные дожди, воевать партизаны уходили далеко от своей главной базы, и случилось так, что Иван Егорович более трех месяцев занимался с бывшим фельдфебелем всеми подробностями жизни, учебы и даже нравов фашистских разведывательных школ. Теперь, глубокой осенью, он на память знал имена преподавателей, дисциплины, систему занятий, паек и прочие мелочи, а также знал и вовсе не мелочи, знал планы помещений, знал, где кто

живет на территориях разведывательно-диверсионных школ, знал пьющих и непьющих начальников и заместителей, знал и не мог, разумеется, удерживать свои мысли только на том, что его знания пригодятся со временем высокому начальству, его же дело петушиное: прокукарекал, а там хоть и не рассветай...

Днями он беседовал, а ночами обдумывал, прикладывал и даже схемочки вычерчивал, тут же, конечно, их сжигая на огне и ругая свои мальчишества с заклетами больше пустяками не заниматься. Но наступало серое, болотное утро, он вызывал сердитую Ингу и вновь занимался с фельдфебелем, выверяя вчерашние и давешние данные и удивляясь точности фельдфебельской памяти...

И чем дальше шло время к началу сорок третьего года, тем точнее вырисовывался Локоткову его опасный, простой и в то же время такой невероятно сложный план. И тем больше он уставал от вариантов своего плана и от того, что привык рассчитывать так, чтобы по "силе возможности" не терять ни единого человека, каким бы выгодным ни представлялась ему его выдумка...

А когда немца наконец переправили на Большую землю, Иван Егорович был весь во власти своей идеи и даже с Иоганном Готлибом попрощался хоть и не слишком изысканно, но, во всяком случае, так, что бывший фельдфебель воскликнул:

- Русс Иван - карашо, Гитлер - капут!

Самолет взревел и ушел в раскисшие небесные хляби, а Локотков отправился в своем постоянном штатском обличье по деревушкам поразведать новости и направить кое-кого в те районы, которые так его теперь интересовали: в Ассори, в Печки. Было все это и трудно и хлопотно, и главное - никто этой работы с Локоткова не спрашивал и никаких таких заданий он, разумеется, не получал, но таков уж у него был характер: даже в те молодые годы делать не то, что спрашивают, а что сердце и ум велют. И делать, несмотря ни на какие личные затруднения.

Ходить хоть и в штатской одежде и с прилично сфабрикованным аусвайсом -

паспортом - было занятием не только не сладким, но и ежесекундно до крайности опасным. Тем не менее Иван Егорович ходил, и не только ради дела, но еще и потому, что народ на временно оккупированных территориях должен был всегда знать, что территория оккупирована врагом временно, что здесь, как и на всей советской земле, свои люди не перевелись, а воюют, что, вопреки горлопанам из гитлеровской РОА и вопреки немецким агитаторам-брехунам, партизаны не только не уничтожены, но набирают силу и что надобно им помогать, даже когда круто приходится: дело такое - война!

Был в ту пору Локотков похож своим обликом на молодого учителя, или агронома, или зоотехника. Таким он и навещал своих людей - спокойным, неторопливым, солидным, немножко даже не по летам. Умел присмотреться, умел в излишнем славословии угадать предательство, в угрюмом человеке умел увидеть своего, в преданном бодрячке разгадывал слабого двоедушника. Так понемножку сколачивались у него свои кадры, так узнавал он тех, кто поможет в горькую минуту, а кто лишь навстречу регулярным частям армии выйдет партизанским радетелем и помощником. Ни у кого он не оставался ночевать, чтобы в случае беды не подвести семейного человека, умел начать беседу издалека - с погоды, с земли, с увиденной оккупантами коровы, умел невзначай, даже у самого робкого, выведать о проехавших давеча ночью фрицах - на "даймлерах" они ехали или нет, был с ними штабной автобус или не был, проходили тут на прошлой неделе прожектористы или обходом проехали через Лужки.

Давно известно, чем люди оказываются во время испуга, то в действительности и есть. Старший лейтенант госбезопасности Локотков "во время испуга" нисколько не менялся и бывал таким же, как, например, бреясь, то есть серьезным, внимательным и сосредоточенным, но ни в малой мере не суетливым, чтобы, фигурально выражаясь, не порезаться.

К любым опасностям и шуточкам войны Иван Егорович в описываемое нами время приобвык, к неожиданным бедам сурово притерпелся, как с подчиненными,

так и с большим начальством умел быть ровно-спокойным и по всякому предмету, разумеется им изученному, имел свое твердое мнение, которое никак не следует смешивать с упрямством, крайне им презираемым.

О себе, или о своем авторитете, или о том, что данное мнение есть его личное мнение, Локотков никогда не размышлял, а думал лишь о деле, которое ему было поручено выполнять, в том смысле, чтобы дело это двигалось возможно более споро, толково, полезно и, главное, по-умному. Это последнее понятие - "по-умному" - старший лейтенант иногда растолковывал людям, связанным с ним военным трудом, желая вколотить и в слишком пылкие юные умы, и в слишком остуженные годами головы свой трезвый и добрый расчет, свою уверенность в силе духа человека, свое презрение ко всякой мельтешне, к лишним словам и к декламации, к которой многие, как известно, с малолетства привержены. Будучи человеком дела, Локотков вообще какую бы то ни было патетику, цветастые словоизвержения, заклятия и восклицания совершенно не переносил, исполняя свою должность, был прост, доступен, таинственного, "оперативного" лица не делал и подчиненным своим это делать запрещал, но и болтать о своих оперативных делах, как и о делах своей опергруппы, не считал возможным, до такой степени, что некоторые новички в партизанской бригаде не знали, чем именно занимается Иван Егорович, считая его штабным работником, из таких, на которых вполне можно положиться в бою и под командованием которого можно отправиться на выполнение самого дерзкого задания. "Нахального" задания, как выражались в бригаде.

Дерзок же был Локотков невероятно.

Издавна служившие с ним помнили, например, такой случай: в партизанском полку (тогда бригады еще не существовало, а был лишь полк) накопилось много раненых, а врача достать никак не удавалось, и медикаментов не было решительно никаких.

Тогда Локотков "уворовал" в Порхове доктора.

У доктора были в заведовании и медикаменты, так необходимые партизанам,

и инструменты, и перевязочные материалы, но уйти в лес он не решался, опасаясь за участь жены и малолетних, тяжело болеющих ребятишек. Забрать всю свою фамилию в полк он не мог, а оставить фашистам - значит обречь семейство на страшную казнь.

Иван Егорович, напевая и насвистывая, много часов подряд раздумывал, потом беседовал со связными и вообще знающими псковскую обстановку, затем вычерчивал схемочки и планчики, тут же, как обычно, их сжигая, а погода принял решение, которое и осуществил в ближайшие сутки. Отыскав ужасно изуродованный труп (в ту пору отыскать такое тело не представляло особых трудностей), Локотков снабдил мертвеца подлинными документами доктора Павла Петровича Знаменского, передел мертвеца в пиджак и сапоги доктора, нагрузил две подводы медицинским хозяйством, велел Павлу Петровичу "не робеть" и увез его в свой партизанский госпиталь. Супруга Знаменская с трудом, но исправно порыдала над чужим покойником, расстрелянным немцами и немцами же с воинскими почестями похороненным, выслушала фашистские соболезнования и в бедном трауре вернулась к исполнению служебных обязанностей. Зоя Степановна была медицинской сестрой и в дальнейшем регулярно снабжала госпиталь своего "покойного" мужа немецкими лекарствами и перевязочными материалами. С доктором же Иван Егорович очень подружился и на досуге любил с ним побеседовать о том недалеком будущем, когда изобретут машинку, заменяющую сердце, или аппарат, заменяющий голову с мозгами. Доктор был в этих вопросах изрядный оптимист и утверждал, что не пройдет и трех столетий, как человечество достигнет практического бессмертия. Иван же Егорович качал головой и говорил, что триста лет - "срок-таки порядочный и хорошо бы маленько поднажать ученым"...

Другая дерзость Локоткова произошла так: на дневке в одном сельце Псковской области, оккупированной немцами, Иван Егорович по-доброму договорился со старостой, что тот будет с нынешнего дня работать на партизан. Староста всеми клятвами поклялся, все слова сказал - и нужные и



лишние, и поплакал умиленно, и даже руку Локоткову хотел облобызать, но все же успел посчитать партизанские сани, коней, пулеметы, автоматы, как говорится, "живую силу и технику", и с грамотным реестром за пазухой, верхом, задами поскакал в немецкую комендатуру, но на пути локотковскими хлопцами был перехвачен и лично Иваном Егоровичем при двух заседателях судим по законам военного времени. Староста что-то визжал и брыкался, но реестр был реестром, адрес на пакете адресом, никаких сомнений не оставляющим, и старосту казнили через повешение на телеграфном столбе на развилке зимней дороги. Была прибита под повешенным и фанерка с объяснением причины казни, были заложены в снег и четыре мины, чтобы любопытные фрицы подорвались, когда станут покойника, дорогого их сердцам, снимать со столба. Фрицы не заставили себя долго ждать, все пассажиры легкового "оппеля" взорвались на минах, а шофера дострелили. Затем Иван Егорович заминировал мертвых офицеров тоже, а шофера отдельно и легковушку отдельно. Еще подождали партизаны в лесу с полсуток, и опять были взрывы в большом количестве, и было взято немало вооружения и боеприпасов, но тут уже пришлось уходить, потому что фрицы двинулись к развилке всю "громадою", как выразился разведчик Саня: пошел на Локоткова "аж гарнизон с бронетранспортерами".

Были и еще многие легендарные случаи, иногда дополняемые пылким воображением партизанской молодежи, иногда рассказываемые в баснословном, былинном варианте, но ведь всем ведомо, что "преувеличивают" лишь любимых и особо почитаемых начальников, в то время как о середняках и дуболомах предпочитают помалкивать, и уж никогда и нигде их никто не нахваливает. Как говорится, себе дороже, да особливо в условиях партизанской войны.

По своей же контрразведывательной, чекистской специальности Иван Егорович был много знающим и думающим офицером, всегда полным отважных и в тоже время точно рассчитанных замыслов, и именно поэтому замыслов, выполняемых с наименьшими потерями.

Тут надо отметить еще и поразительный, смекалистый, хваткий и емкий ум

Ивана Егоровича, его наблюдательность и спокойную аккуратность, граничащую с педантизмом, в подготовке и разработке операций. Во время этой кровавой войны, случалось, и крупные военачальники на потери не слишком обращала внимание, а молчаливый Локотков не одну свою операцию выигрывал совершенно без единой потери, утверждая, что если "по-умному" и "горячку не пороть", если врага изучить "со всей возможной и даже невозможной" глубиной и основательностью, то от этого можно иметь большие выгоды своему войску.

"Не пороть горячку" - лозунг, провозглашенный Локотковым, - не всем нравился: были, разумеется, скорохваты-рубачи, но и их Иван Егорович упрямо и неуклонно сворачивал на свои позиции, потому что все всегда видели своими глазами его успешную и толковую деятельность. Все, кроме отдельных прилетающих к партизанам на самолетах начальников, для которых самый факт их пребывания на партизанской земле, в фашистском тылу казался выдающимся и достойным специального о них повествования, быть может и не в прозе, а в возвышенных стихах. Некоторые из этих прилетающих, случалось, и покрикивали даже на Ивана Егоровича, который, надо отметить, и крика начальственного не пугался, а продолжал настаивать на своей линии, линии в ту пору не только не модной, но даже и вовсе невозможной, поскольку некоторые прилетающие склонны были подозревать все и всех вокруг себя в изменнических, подлых и коварных замыслах.

Локотков же прежде всего верил в суть советского человека даже тогда, когда этот человек и ругался солеными словами на немецкую силу, или на то, что который день нет табаку, или на глупость аж самого взводного.

Были, разумеется, случаи, что и Иван Егорович расшибался, но этих случаев было до того ничтожно мало, что они ни в малой мере не расшатали его твердую и спокойную веру в то, что его товарищи по оружию - великолепный народ и что с этими товарищами нельзя быть ни подозрительным, ни угрюмо настороженным, нельзя поминутно всех проверять-перепроверять и что слово "товарищ" есть не только привычная форма обращения, но еще и слово, полное

прекрасного смысла и высокого значения.

Поэтому партизаны за глаза называли Локоткова "друг-товарищ": это было его излюбленной формой обращения.

- Ты вот что, друг-товарищ, - говаривал он, - ты подбери себе еще двух друзей-товарищей...

Командный состав бригады уважал Локоткова и доверял ему абсолютно. Дело тут было простое: разведданные, предоставляемые Иваном Егоровичем, всегда были абсолютно достоверны, что на войне, как известно, имеет решающее значение. Легкомыслие здесь совершенно нетерпимо, более того - преступлению подобно, и Локотков это отлично понимал, испытал буквально на себе самом в первые месяцы войны результаты угодливо-несерьезного отношения к великому и требующему ума и наблюдательности, точности и памяти делу разведывания сил противника.

Так вот, на данные Локоткова всегда можно было совершенно положиться. Он или говорил: "Не знаю, друзья-товарищи, ничего не знаю", или знал доподлинно, подробно, педантично, знал, где станковый пулемет, а где минометы, знал, какой дорогой могут прийти другие фрицы на выручку и какой можно уйти, знал, где их обер-лейтенант ночует и откуда карателям с эмблемой "ЕК" повезут горячую пищу.

- Откуда? - в изумлении спрашивали иные командиры из зеленых юношей. - Откуда ты эти подробности изучил? Поделись опытом, Иван Егорович?

- А люди сказали, - отвечал, посмеиваясь и показывая белые, блестящие зубы, Локотков. - Люди, народ. Мне все наши советские люди всегда говорят, секрета нет. Тут уметь только одно надо: вопрос задать.

Отправившись в это свое путешествие по "своим людям", или в "вояж", как называла отлучки начальника профессорская дочка Инга-насмешница и будущая специалистка по творчеству Гейне, Иван Егорович уже к первопутку навестил одного своего хитрого дружка - Артемия Григорьевича Недоедова, в прошлом лютого врага разрушителей и реконструкторов древнего города Пскова. Наборщик

в молодости, метранпаж к старости, он всю душу свою вложил в борьбу с теми, кто пытался изменить облик любимого им до бешеной страсти города, был даже накануне ареста за крутое высказывание насчет разрушения памятников прошлого, но Локоткову удалось старика отстоять, они лишь побеседовали в ту пору "по-умному", и хитрый Недоедов, конечно, догадался, "что к чему и отчего почему", как любил он выражаться. Сейчас он уже более полугода жил у дочки с мужем в деревеньке Дворищи - не мог видеть руины своего Пскова. Дочка когда-то была бухгалтером в совхозе, муж ее, Николай Николаевич, ветврачом. Нынче все семейство было связано с Локотковым, все работали на партизан и в то же время сердились на Ивана Егоровича за то, что он не дает им передохнуть и, главное, гоняет старика, который со своей крикливостью может пропасть ни за грош. И в это утро Локоткова встретили не слишком приветливо.

- Пришел! - сказал ему Артемий Григорьевич. - Все ходишь! Вот выдам тебя фрицам, они меня озолотят: чекиста заполучить, а? Корову подарят, лесу на новую избу, в Берлин свозят на фюрера поглядеть.

Нина взбудрила потухший было самовар, Николай Николаевич сказал, сдвигая брови:

- Мы папашу больше не пустим, как хотите, Иван Егорович. Они человек пожилой, заорет неподходящие слова - и крышка.

Локотков промолчал. Он знал: им нужно сначала выговориться, так бывало не раз.

- Ходят-бродят, - принимая от дочки стакан с морковным чаем, сказал старик. - Сейчас сделает предложение: поезжайте, друг-товарищ, в город Ригу. Или в Мюнхен.

Нина поставила на стол чугунок с картошками и протоквашу.

- А блинцов испечь не можешь? - осведомился Недоедов. - Сами ели, а гостю картошки? Это по-русски? Или от фрицев выучилась?

И он вновь накинулся на Локоткова:

- Разведчик должен образование иметь. Специальное. А я кто? Какие листы в какие учебники набирал - и то не помню. Из энциклопедии отдел на букву "Ц" набирал, и то частично. Мое образование разрозненное. Понимаешь ты это, человек божий, обшитый кожей? В прошлый раз пристал: какие были пушки? А вы меня пушкам учили? Пушка и пушка, а при ней фрицы в железных касках, так ему мало, ему дай полные факты.

Иван Егорович из деликатности блинцов есть не стал, хоть очень мучился отведать, поел с чаем лишь картошек. Когда семейство совсем выдохлось, Иван Егорович поднялся прощаться.

- Да ты что, смеешься? - уже даже захрипел Недоедов. - Ты что, в гости почайпить из лесу ходишь? Ты говори дело, ты намекай, зачем башкой рискуешь.

Но Локотков настаивал на своем: зачем досаждать, когда люди так переутомились и напуганы до последнего предела. Тут работа добровольная, не по принуждению.

И он сказал, уже стоя, что надо наведаться в Печки, есть такое место недалеко от Псковского озера, просто наведаться, посмотреть, какое оно из себя, это село, какие там части расквартированы, и не по номерам, а просто густо ли насыщено фашистами или не слишком, но раз так вышло, то он не в претензии, каждый делает что может.

Николай Николаевич сказал сердито:

- Это вы бросьте. Я же не про нас с супругой, я про папашу. Они действительно престарелые...

- Это ты брось! - крикнул на зятя старик. - Я с виду старичок безобидный, ко мне никто не придерется. И за меня не разговаривай, я сам говорить наученный. Поеду как из Пскова мешочник, вот и все. Печки мне известные, там вполне можно менку сделать, там вблизи даже кулачье корни пустило, они вещи обожают. Золотишка бы где взять?

К ночи, когда все было обговорено, первопуток растаял, небо сделалось черное, осеннее. Идти до хутора было далеко - километров шесть, и Локотков

пожалел, что не остался. У крайней, едва освещенной избы на Локоткова почти навалился огромный полицай, спросил аусвайс, кто таков, откуда припожаловал, где изволил в Дворищах время проводить. Недоедовых Иван Егорович, разумеется, не назвал, полицай наваливался все ближе, всматривался. Огромная, пьяная, белая его морда была совсем близко, когда Локотков выстрелил ему в грудь, вплотную прижав ствол к ватнику. Полицай повалился, выстрел почти не был слышен в глухом шуме дождя.

Ночевал Локотков в лесу, в сырости и в слякоти. И почему-то сквозь тяжелый, беспокойный сон вспоминались ему строчки:

Как дело измены, как совесть тирана,  
Осенняя ночь темна.

Впрочем, он почти глаз не сомкнул в эту длинную ночь. Так, проваливался на мгновения и вновь вслушивался тревожно в таинственную жизнь осеннего леса, густого осинника и вспоминал почему-то, вспоминал самое трудное и горькое в своей жизни, как, например, перед вылетом на выполнение первого задания, когда просидел он более полусуток в приемной своего наибольшего начальника. Тот был до того беспредельно занят, что адъютант даже не смел ему доложить о кротко дремлющем в уголке возле шкафа никому не известном Иване Егоровиче. Потом начальник прилег отдохнуть - "прижать ухо минуток на триста", по его выражению, Локотков все подремывал. Наконец про него вспомнили и впустили. Начальник, поигрывая косматой бровью, из рассеянности или для соблюдения субординации не пригласив старшего лейтенанта сесть, протянул ему через стол листовку, в которой геббельсовские сочинители сообщали о ликвидации всех разрозненных групп и группочек на территории Псковской области. И еще про то, что некоторые сдавались сами со знаменами, оркестрами и командирами.

- Побрехушки, - спокойно сказал Локотков и вернул своему наибольшему

геббельсовское изделие.

Начальство еще поиграло массивной бровью. Игра эта означала его полнейшую осведомленность. А также и то, что он хоть и знает, но не скажет.

- А не влопаешься в ловушку?

- Мне в ловушку никак нельзя, - со вздохом произнес Иван Егорович. - Я чекист и предпочитаю в свои ловушки фашистов заманивать...

Закурив "Северную Пальмиру", начальство проинструктировало Ивана Егоровича в том смысле, как Локоткову следует выстрелить себе в висок, если все-таки он "влопается". И это поучение старший лейтенант выслушал молча. И ушел после слов насчет того, что "может быть свободным". Впрочем, начальство за эту фразу он не осудил: тот ведь уже говорил по телефону и, при высокой своей ответственности, не обязан был находить подходящие формулировки для каждого старшего лейтенанта. А может быть, такая манера провозжать на задание соответствовала авторитету наибольшего. Ведь не пожимать же руку всем многочисленным своим подчиненным, отправляющимся на задания, тут и рука не выдержит, кто же тогда станет подписывать важные бумаги?

На аэродром по тихому, сосредоточенному, хмурому Ленинграду Локотков ехал со своим дружкой и в некотором смысле учителем Михаилом Ивановичем. Старая "эмка" ползла медленно, мотор чихал и захлебывался. Оба друга были людьми в высшей степени скромными, и потому в назначенном месте Иван Егорович получил продовольствие только лишь сухарями и сахаром: ни консервов, ни концентратов, ни сала ему не дали. Михаил Иванович распалился на несправедливость, но ввиду того, что сказать, куда именно и зачем отправляется Локотков, не мог, то так и кончилось - сухарями и кульком рафинада.

- Ничего, были бы кости, а мясо нарастет! - утешился Локотков.

- Насчет костей у тебя хорошо, - поддержал Михаил Иванович. -

Вернешься, я из них недодачу выбью, ты имей в виду!

Локотков улыбнулся:

- Как же, ты выбьешь!

На аэродроме, аккуратно пережевывая сухари, они в осторожных выражениях поговорили о том, что, когда человек отправляется на особое задание, его бы надо снабжать повнимательнее.

- Но с другой стороны, если вдуматься, - сказал Локотков, - то на войне все задания особые.

Михаил Иванович не согласился:

- Твое, Иван Егорович, среди особых особое. Твое задание - людей выводить, спасать. Там не десятки, там народу много, и одна у них надежда - на тебя. Ты в полной форме должен быть, там и топи, и фрицы поблизости, там тяжело, Иван Егорович...

- А есть где полегче? - со вздохом спросил Локотков. - Впрочем, наверное, есть. Но опять же, совесть...

И сконфузился, словно сказал что-то совсем излишнее.

- Неполодок тут еще хватает, - сказал Михаил Иванович и отказался от второго сухаря. - Девчонку тут одну недавно я отправлял, так потеряла она продовольствие. Хорошая девочка, идейная. Ждать отказалась. А представляешь - там, на временно оккупированной территории, из-за такой бюрократии что может сделаться? Какое горе?

Подошел пилот, спросил, небрежно козырнув:

- Кто идет в рейс?

- Вот он, - сказал про друга Михаил Иванович.

- Парашютным мастерством владеете?

- А ты мне, друг-товарищ, покажи, чего там дергать, - сказал, вставая, Локотков. Он еще дожевывал свой сухарь и хрупал сахаром. - Небось наука не такая уж мудрая.

Пилот показал, Иван Егорович понял. Под рев мотора Локотков обнялся с Михаилом Ивановичем. И те слова, которые должно было сказать наибольшее начальство, тут сказал Михаил Иванович.



- Надеемся на тебя, - закричал в ухо Локоткову Михаил Иванович, - давай, Ваня, покажи на деле, что такое государственная безопасность!

Через пятьдесят пять минут лету Локотков осуществил свой первый, не по собственной воле затыжной прыжок: спервоначалу не за то потянул.

Но и здесь самообладание не оставило его, он разобрался, и когда очухался от непривычных ощущений парящей птицы, то сразу оказался в объятиях измученных лишениями окруженцев.

Посидели, поговорили, обсудили обстановку. А не более как через час колонна уже была на марше. Сильный и крепкий в кости, молчаливый и голодный, охотник и рыболов, знающий Псковщину, как свою комнату, Локотков вывел без потерь на соединение с Красной Армией эту группу и уже опытным парашютистом прыгнул в другую, потом в третью, коротко представляясь каждый раз старшему начальнику. И слова "государственная безопасность" в этих мокрых и холодных осенних лесах, в болотах и топях, среди замученных людей звучали совсем по-особому, звучали так, что этот костистый, с ввалившимися глазницами солдат есть особый представитель, уполномоченный государством обезопасить воинов от нависшей над ними жестокой гибели.

Так, раз за разом спрыгивал к окруженцам старший лейтенант Локотков, а когда вывел всех, то доложил по начальству и на вопрос о том, кто там и как готовился к капитуляции, коротко ответил:

- Такие явления не наблюдал ни разу.

- Может, плохо наблюдали, оттого и такие явления "не наблюдали"?

И наибольший опять повел своей косматой бровью и выразил лицом привычное: "Я-то знаю, да не скажу!"

Иван Егорович смолчал.

Наибольший был и прыток, и дотошен.

- Ищущий обрящет! - любил говаривать он в ту пору, расхаживая по своему кабинету и вглядываясь в зеркального блеска носки собственных сапог. Твердо и неукоснительно верил этот ферт в то, что если только изменников тщательно

искать, то они непременно отыщутся. И Локоткову он сказал, что-де "ищущий обрящет", ответное же его молчание принял как знак согласия, потому что какой же старший лейтенант посмеет иметь свое мнение, противное мнению главного начальника? А начальник еще походил и несколько раз выразил свои твердые взгляды на то, что все наши неуспехи на фронтах происходят исключительно по причинам ротозейства таких "работничков", как Локотков, которые не желают "профилактировать" язву предательства и измен. И привел некий авиационный пример, к которому Иван Егорович не имел ни малейшего отношения.

- При чем тут измена, когда у них бронеспинка? - возразил начальнику Локотков. - Наш в него бьет, попадает, а впечатления никакого.

- Вы так предполагаете? - спросил начальник, внезапно остановившись против старшего лейтенанта. - Или это геббельсовская брехня у вас на языке?

"Вот и все! - со скукой и томлением подумал Локотков. - Сейчас он меня навсегда приберет".

Но к счастью Локоткова, и на этот раз зазвонил самый главный телефон, по которому бровастый начальник докладывал почти всегда стоя, и Ивану Егоровичу махнули рукой, чтобы уходил.

С трудом ступая опухшими в болотах ногами по непривычному паркету, Локотков, разумеется, не замедлил с уходом, думая о том, как бы сделать, чтобы более на глаза никому не попадаться, а то вдруг и посадит для ради страха божия, а потом и доказывай свою невиновность согласно господствующей юридической доктрине.

Однако же другое начальство, замещающее и заменяющее главное, беседу продолжило деловито:

- Пораженческие настроения примечали?

- В каком смысле?

- В интересующем нас. В смысле желания, чтобы нас фашисты разгромили!

Вопрос ясен?

Этот уже разговаривал с Локотковым, как с заключенным под стражу.

- Нет, пораженческих настроений я ни разу, нигде не наблюдал.

- Значит, все хорошо и распрекрасно?

- Распрекрасного я тоже не замечал. Война она война и есть.

- Почему же, если у них все так хорошо и распрекрасно, - нисколько не слушая своего собеседника, спросил главнозамещающий, - почему же они тогда не прорвались от этого... от Пурска на Наволок?

- От Прудска? Да потому, что там сплошные болотца и это был бы не прорыв, а сплошное самоубийство.

- Вопрос такой, - сказал главнозамещающий...

Локотков сжал зубы. Он еще не ел и не пил в это злое утро, он не умылся толком и не побрился, он к врачу не зашел ноги показать, а эти дуют в одну дуду: дай, что им надобно. Ох, наступит день, наступит еще день, когда отправится этот главнозамещающий разгружать, допустим, вагоны, мужчина здоровья отменного, там ему и место и кормление, а не здесь, где страшные вещи он творит одним только своим мировидением, одним только своим постоянным неверием и недоверием...

Впрочем, не только вопросы Локотков выслушал и на них посылно ответил. Он еще и напутственное слово должен был освоить насчет "всячески пресекать", "активно воздействовать", "не допускать", "разбираться в коварных методах", "одна ошибка обходится"...

От усталости и тянущей боли в ногах у Локоткова даже голова кружилась, но он ни на что не пожаловался, слушая главнозамещающего, а лишь со скукой думал: "Эк вы, ребята, здоровы болты болтать! Эк языки у вас подвешены! Скорее бы мне обратно в болота, там лишнего не болтают, там хоть и тяжело, да надо, а здесь и тяжело и не надо!"

И на этот раз Локотков в звании повышен не был и к ордену его представить забыли. Не с руки было. Забегая вперед, впрочем, отметим, что, повстречав в конце войны одного полковника, которого Локотков выводил из

окружения младшим лейтенантом, выслушал он удивленное соболезнование, что-де как же это так все Локотков в капитанах, и ответил с усмешкой:

- Локотков-то в капитанах, да наша артиллерия по Берлину бьет. Я на это вполне согласен.

- Напишу про тебя! - обещал полковник. - Главнокомандующему лично напишу. Вот возьму и напишу. Как ты нас в октябре вывел. Подробно опишу...

- А мне и в капитанах не дуется, - со своей обычной усмешкой ответил Локотков. - Так что уж вы не трудитесь, товарищ полковник.

Нельзя, кстати, не сказать, что некоторые локотковские смертельные враги в пору деятельности Ивана Егоровича в партизанской бригаде полагали в нем "секретного генерала", который лишь из соображений конспирации скрывается в старших лейтенантах. Впрочем, прослышав об этих фашистских рассказах, а также о высокой цене, которая назначена псковским военным комендантом за его голову, Локотков произнес:

- А может, я и впрямь генерал. Кто его разберет? Только все-таки навряд ли. Но это хорошо, что фрицы так рассуждают. Потому если у нас такие лейтенанты, то какие же у нас генералы!

Вообще же со своим прямым партизанским начальством Локотков отлично ладил, что же касается до начальства специального, то здесь все получалось у Ивана Егоровича худо, чем и объяснимо то, что, по старинному и точному выражению, он и к старости себе теплого места не угрел. Тут надобно еще повторить, что свое мнение он не считал нужным от начальства уберечь, а так как все локотковские мысли держались на знании, а не на желании "видеть все в красивом свете", то есть в свете, желаемом начальству, то начальство и раздражалось на Локоткова, а иногда и до ярости доходило...

Но об этом еще рано.

## **ГЛАВА ВТОРАЯ**

В вечер первого крутого разговора поначалу все шло хорошо, вежливо, мирно и, как положено в таких случаях, изрядно скучно. Прибывший с Большой земли к партизанам майор Петушков, естественным манером, поучал лесных людей уму-разуму, а лесные люди в лице Ивана Егоровича и его ребят - общей численностью весь аппарат Локоткова состоял из шести человек - слушали. Слушали-слушали, и только лишь, когда ясноглазый майор, совершенно уверенный в ответе старшего лейтенанта, задал вопрос, согласен ли Локотков с его взглядом на вещи, вышла, что называется, некрасивая история.

- Вы не стесняйтесь, товарищ Локотков, - подбодрил скромнягу Ивана Егоровича майор. - Давайте обтолкуем это дело. Вопрос подвешен, теперь дело наше в наших руках.

Локотковские чекисты вежливо подремывали: уж больно долго Петушков объяснял им сущность мракобесов-фашистов. А ребята сегодня уже воевали, и по несознательности их клонило ко сну.

- Может, отпустим мою контору, - сказал Локотков, жалея ребят.

От слова "контора" Петушкова слегка покорибило, но кивком головы он дал согласие, и землянка мигом очистилась. Теперь они остались вдвоем - прилетевший и воюющий.

- Так как же моя идея? - спросил майор.

- Это насчет языка?

- Именно.

- Что языки, - вдруг усмехнулся Локотков, - языка перед боем брать уместно. А нам по мелочи работать ни к чему.

- Это как так по мелочи? - обиделся Петушков.

- А так, что именно по мелочи. Что язык знает? Людей за него наших побьют, а толку вовсе один вздор. Бывает, еще дурак попадет, бывает, начинен дезинформацией. Язык - это случай, а нам случаев достаточно, нам

крупные данные нужны, нам знающий много нужен. Вы, пожалуйста, товарищ майор, наши разведданные послушайте, не пожалеете...

И Иван Егорович заговорил, да как заговорил! С подробностями, с картой, с немецкими важными фамилиями, с чинами и званиями, с быстрыми и бурными карьерами. От этих локотковских знаний красивый и подтянутый майор Петушков даже затосковал и объявил весь доклад Локоткова фантазиями и пустяками.

- Зачем же пустяки, - без всякой принятой в обращении с начальством любезности произнес Иван Егорович, - я ведь не из пальца высосал, не из книжек вычитал. Мне мои верные советские люди рассказали, героические товарищи. Они для каждого этого малюсенького сведения шкурой рисковали, да потом я еще и перепроверял. Нет, товарищ майор, это не красивые бабушкины сказки, вы лучше себе мои сведения в самый секретный талмуд запишите. Мы ведь недаром среди фрицев похаживаем, мы любопытные ребята!.. Так как? Интересуетесь?

Петушков, подавив нервный зевок, сказал, что интересуется.

- Вот вам схема их разведывательного органа "Цеппелин", - деловито начал Локотков. - Вот вам Балтийское море, от него и направимся танцевать. Вот эдак. Вот Псков. Отсюда, как видите, стрелы на Витебск, Могилев, Борисов. А вот деревня Печки - совсем недалеко. Главное же командование в Пскове, которое именовалось "Руссланд-Митте", нынче, днями, переименовано в "Руссланд-Норд". Почему я именно на Печках ваше внимание позволил себе остановить? Потому что именно сюда я нацелился...

Иногда Локотков позволял себе выражаться в высшей степени галантно.

- Так далеко языка брать?

- Это вы о языке говорили, а не я. У меня мысль иная. Вот я вам подробно изложу про разведывательно-диверсионную школу в Печках, у нас данные богатые...

Петушков вздохнул и стал слушать.

А Иван Егорович заговорил о преподавателе Вафеншуле, о начальнике школы

Хорвате, о его помощнике, изменнике Родины Лашкове-Гурьянове, о старом и глупом князе Голицыне, прибывшем в школу из Парижа, о других преподавателях - Гессе, Штримутке, о принимающем проверочные испытания штурмбанфюрере СС Шлейфе, об инспекторе "Абвер-заграница" Розенкампе, который часто посещает разведывательно-диверсионные школы и проверяет там курсантов, подолгу с ними беседуя и вербуя свою агентуру...

- Целая научная диссертация, - с усмешкой перебил Петушков.

- Разведываем, что можем, - сказал Иван Егорович, - думаем, сгодится...

- А мы этого не знаем? - последовал неприязненный вопрос.

- Может, еще и не знаете, - спокойно сказал старший лейтенант. - Мой человек один, толковый, вошел там в доверие. Он сам из наборщиков, метранпаж, и немецкие литеры набирать может. Сильный работник...

- У вас тут все сильные, слабых нет, - опять перебил Петушков. - Но только это все сказки тысячи и одной ночи. Смешно даже слушать...

- А вы бы, товарищ майор, воздержались смеяться, - сурово ответил Иван Егорович. - Эти мои сведения дорогие, за них, может быть, кровью замечательных советских патриотов платить придется, если еще не уплачено...

Петушков заметно побледнел. Он всегда бледнел, когда злился.

- Я без ваших замечаний обойдусь, - довольно громко заметил он. - И сейчас и в будущем. Ясно вам?

Старший лейтенант ничего не ответил, лишь внимательно взглянул на Петушкова.

- Продолжайте! - распорядился тот.

По рассказу Локоткова можно было предположить, что он не только побывал в Вафеншутле, но и со всеми там вступил в личные отношения, не говоря уже о "Цеппелине" и его руководителях, начиная со штурмбанфюрера Кукрека и кончая нынешним оберштурмбанфюрером СС доктором Грейфе. Знал Локотков и о зондеркомандах, и о ягдкомандах, иначе - истребительных командах, знал, что делается в деревнях Стремутка и Крышево, в Ассари и Лапемеже, в Лужках и

Лиенае, в Валге и Раквере. И знал не приблизительно, а точно, словно бы подолгу там сам разведывал, занимаясь зафронтовой, с глубоким проникновением в тылы деятельностью.

Что же касается Вафеншуле, то, по словам Ивана Егоровича, это школа была создана разведцентром "Цеппелин" в марте 1942 года сначала в местечке Яблонь, близ Люблина, в Польше, а затем передислоцирована сюда в "целях приближения к месту деятельности". Теперь Вафеншуле специально обучает диверсиям и шпионажу русских военнопленных. Умиравших от истощения людей отбирали в диверсанты, суля им всякие блага и в случае отказа угрожая им близкой и медленной голодной смертью или газовыми камерами.

- Легенды, - сказал Петушков. - Даже странно, что вы этим басням верите. Любой изменник Родины эти жалостливые песни поет, все они сволочи и подонки, которые на таких вот, как вы, либералов только и рассчитывают...

Локотков молча глядел на начальника, отхлебывающего из кружки крепко заваренный чай. В землянке было жарко, Петушков покраснелся, на красивом его лице проступил пот.

И Локотков опять, в который уже раз за эти месяцы, выслушал лекцию о пользе бдительности и о том, что ведет за собой потеря таковой. В качестве примера и для того, чтобы показать свою осведомленность, майор в заключение лекции привел довольно известный чекистам в ту пору случай задержания пятерки выброшенных немцами парашютистов, которые "якобы" явились с повинной и сдались леснику, который им "мудро" не поверил и препроводил по начальству, где наконец преступники поведали о своих истинных намерениях. Они будто бы хотели заручиться доверием советского командования и лишь тогда начать действовать в пользу своих фашистских хозяев.

- Вот оно как в жизни бывает, а не в сказках, - заключил майор. -

Теперь понятно, товарищ Локотков?

- Не понятно, - ответил Иван Егорович. - Зачем же им было лесника искать и ему одному все свое радиооборудование и арсенал сдавать, когда он



спал и никакой выброски не заметил? Вы меня извините, товарищ майор, но именно этот рассказец и есть чистые побрехушки. Я еще тогда подумал, надо было с этой группой на радиоигру выйти и принять хороший десант, а не судить их как поскорее. Осудить и потом можно, а пока война, нужно для ее пользы стараться.

- Да вы что? - совсем раздражился Петушков.

- А что? Не согласен, и все. По-глупому сделано.

И, словно с ним не проводилась никакая лекционно-воспитательная работа, осведомился:

- Разрешите продолжать докладывать?

Майор со скукой во взоре разрешил, а Локотков так подробно, будто он сам в Вафеншуле проходил курс диверсионных наук, стал повествовать о повседневной жизни и о порядках школы. По его словам, там обучалось от ста пятидесяти до двухсот агентов военному делу, подрывным работам, массовым отравлениям источников, агентурной разведке, изготовлению документов, поведению в советском тылу и многим другим наукам вплоть до особой, изготовленной в Берлине и Лейпциге русской литературы. Повествуя о жизни школы, Иван Егорович употреблял немецкие обиходные слова с такой привычкой, с какой привык спать в сапогах и при оружии, умываться снегом и по многу дней обходиться без горячего.

Петушков же невольно и очень сердито обижался этой бывалостью старшего лейтенанта и подпускал шпильки на тот счет, что не слишком ли точно все знает Локотков, не "подпутали ли его немцы на свою фашистскую легенду". Иван Егорович все шпильки пропускал мимо ушей и говорил лишь дело, потому что ради дела обижаться себе никогда ни на кого не позволял, такое уж у него было правило.

- Ну и что же, в конце концов? - громко рассердился Петушков. - Лекцию вашу я выслушал, а для чего?

- А для того, - спокойно ответил Локотков, - чтобы вам ясно стало:

языки там ничего толком не знают, одни вздоры и то, что нами уже изучено. А если брать, то не меньше чем начальника школы майора СС Хорвата. Вот его нам и надобно похитить, пока немцы свою школу не эвакуировали туда, откуда Хорвата не достанешь.

Петушков утер обильный чайный пот и захолопал на Локоткова глазами.

- Вы это серьезно? - не тая сердитой усмешки, произнес он. - Начальника школы украсть? А Гитлера не хотите сюда в лес привести? Или Гимmlера? Или Геббельса? Да где это видано? Такую чушь даже пинкертон в детективных книжках не учудили сочинить, а старший лейтенант Локотков берется за осуществление...

На все эти унижающие аргументы и насмешливые восклицания Локотков, словно бы задумавшись, молчал. И возразил только тогда, когда Петушков сказал, что он бы и на одном только украденном диверсанте примирился и людей бы за такое дело представил к правительственной награде.

- Диверсант, как правило, товарищ майор, - сказал Локотков, - ни черта, кроме своих прямых заданий, не знает. Его от знаний там очень даже оберегают. А Хорват знает, куда, кого и с каким заданием забрасывают. И на какое оседание. Возможно, ведь и на длительное, на очень длительное. Эти, на длительное оседание заготовленные, - опаснейшие люди. Это палачи из их лагерей уничтожения, это те, которые тысячи людей ничем не повинных убили. Они таких убийц за прямым ремеслом даже фотографируют и фотографии у себя сохраняют в личных делах. И задание - сиди и молчи, пока хозяин не свистнет, сиди тихонечко, служи большевикам вовсю, внедряйся в самое наисекретное и никаких подозрительных знакомств не веди. Пролезай в партию, узнавай как можно больше и жди. Наступит час, и свистнет тебе твой хозяин. Если на свист не выйдешь, будут отданы твоей власти на тебя документы: кто ты, что ты, каким ты был, каким выглядел. А кто будет тогда тебе хозяином, дело наше. Знай свисток.

От непривычно длинной речи своей Иван Егорович даже разволновался.

Теперь Петушков и то слушал его внимательно, нельзя было не слушать - так убежденно и сильно говорил этот партизанский чекист. И видно было - знает, о чем говорит...

- А начальник школы, думаете, в курсе этих вопросов? - осведомился наконец майор. - Ему знать положено?

- Которые на длительное оседание - отдельную подготовку проходят, - сказал Иван Егорович. - Не всю, но полтора месяца особо секретно их обучают. И на них списки...

- Где именно списки?

- На самом верху, наверное, впоследствии тоже заводятся, а пока в школах. Но наверх нам не добраться, а если совладаем с таким делом, как, допустим, майора Хорвата украсть, не ради, конечно, его прекрасных глаз, а ради документации и расшифровки, тогда...

- Чепуха, - прервал Локоткова Петушков. - Впрочем, я наверху этот вопрос провентилирую. Вряд ли там на эту идею пойдут. Я бы не пошел.

- Как доложить, - пожал плечами Иван Егорович. - Можно все по-разному доложить...

- Вы такого мнения о нашем начальстве? - спросил майор.

- А разве я о начальстве сказал? Я о вас сказал, - невесело улыбнулся

Иван Егорович.

Такой происходил между Петушковым и нашим героем разговор в мае сорок третьего года, в непогожий, сырой вечер, когда километрах в ста от расположения партизанской бригады начальник Вафеншуле Хорват в присутствии своего помощника Лашкова-Гурьянова докладывал оберштурмбанфюреру СС доктору Грейфе некоторые служебные размышления и невеселые из них выводы.

## **ГЛАВА ТРЕТЬЯ**

Странную и печальную картину являл собой старинный город Псков в ту пору, о которой идет наше повествование. Из шестидесяти двух тысяч бывшего населения немцы переписали лишь три с половиной тысячи людей. Евреев, ходивших до декабря сорок первого года с желтой звездой, всех вывезли в лагерь уничтожения. Возле комендатуры пороли людей, провинившихся по самой малости. Город как бы совсем умер, и жила в нем лишь германская военщина. Наступательная беспечность фашистской имперской машины к этому времени дала очень заметную трещину, сильно засбоила, и немцы стали закрепляться на оккупированных ими территориях со всей доступной им педантичностью. Поэтому и Псков они укрепили не только по его окраинам, но и изнутри: настроили разные твердыни, окруженные проволочными заграждениями, надолбами, секретными ямами, завалами и закопанными в землю танками. В местах, которые фашисты полагали важными объектами, были еще более важные, а в еще более важных они выгородили важнейшие, которые охранялись отборными солдатами, вооруженными новейшим оружием, а кроме того, еще и электрическим током высокого напряжения - "хох-шпанунг", - пропущенным через колючую проволоку, спиралью Бруно и многими иными фокусами, вплоть до колоколов громкого боя и прыгающих мин, которые срабатывали за метр от приближающегося "злоумышленника".

В эти важнейшие укрепления попасть можно было только по особым пропускам, шифр на которых менялся дважды в сутки и не был решительно никому известен, даже генералитету. Выбивала шифрованные знаки особая машинка, вроде нумератора, по своему механическому капризу, управлял же машинкой маленький военный чиновничек с крысиными зубами и слезящимися глазами, существо особо и лично доверенное самого Гимmlера.

Вот за этими главными предохранительными ограждениями, в твердыне твердынь черного от бомбежек и артобстрелов древнего города Пскова, в особой часовенке, со стен которой смотрели на незваных пришельцев скорбными глазами

православные страсотерпцы и великомученики, сидели за бутылкой "мартеля", в сигарном душистом дыму трое: оберштурмбанфюрер доктор Грейфе, узколицый, высоколобый, рано облысевший блондин, у которого от постоянного употребления какого-то тайного и сильнодействующего наркотика уже давно и совершенно помимо его воли сделался яростный и испепеляющий взгляд Лойолы, а с ним его подчиненные собеседники - Хорват и Лашков-Гурьянов. Начальник разведывательно-диверсионной школы в Печках штурмшарфюрер СС Хорват имел внешность очень интеллигентного человека, был благородно сед, носил очки и изредка дергал левой щекой, что дополняло изысканность его облика. Заместитель Хорвата, бывший советский майор, выдавший себя при пленении за представленного к подполковнику, изменник Родины, ныне обершарфюрер СС, выглядел совсем непримечательно и даже испуганно. Впрочем, тревогу его ищущего взгляда можно было объяснить тем, что в данное время Хорват рассказывал высокому начальству гурьяновскую биографию от молодых ногтей до нынешнего дня, и Лашков-Гурьянов, в первый раз в жизни видящий такое недостижимо высокое начальство, как доктор Грейфе, напряженно следил за тем, какое впечатление произведет на оберштурмбанфюрера его жизнеописание, в котором основной движущей силой была его преданность идее господства арийской расы над всем иным человечеством.

Гурьянов плохо понимал по-немецки, полностью до него доходили только некоторые фразы, но то, что Хорват рассказывает про него достаточно уважительно, было Лашкову-Гурьянову ясно без всяких сомнений.

Оберштурмбанфюрер слушал внимательно, глаза его только порой зажигались ироническим огнем, а иногда, совсем как бы не к месту, он усмехался, и тогда Гурьянову становилось не по себе, он съеживался и подбирал покруче ноги в хромовых, с короткими голенищами, щегольских сапожках.

- Неужели? - осведомился вдруг Грейфе.

- Совершенно точно! - ответил штурмшарфюрер Хорват. - Именно так.

- Его нужно было завербовать еще в те годы, - сказал Грейфе. - Сразу

после революции. Мы бы имели ценную информацию.

- Так точно, - на дурном немецком языке произнес Гурьянов. -

Разумеется, я не пощадил бы самой жизни.

- Можно продолжать? - осведомился Хорват.

- В общем, это весьма интересно, - не ответив Хорвату, медленно, вразяжку констатировал доктор Грейфе и опять со смешанным выражением иронии и любопытства поглядел в сине-серое лицо Гурьянова. - Это достойно изучения. Вам бы следовало напечатать историю вашей жизни в каком-либо журнале, - посоветовал он. - Вы побеседуйте от моего имени с начальником группы прессы "Остланд" господином зондерфюрером Крессе. Можно напечатать в "Вольном пахаре" или в "Северном слове". Да, да, это совсем не безынтересно...

- Слушаюсь! - щелкнув под стулом каблуками, произнес Гурьянов.

Заинтересовало же Грейфе вот что: прапорщик царской армии Гурьянов, когда грянула революция и когда он понял, что все белые и поддерживающие их двенадцать языков большевиков не одолеют, решил начать жизнь с самого начала. Для этого он скрыл свою подлинную, дворянскую суть и обратился в темного, неграмотного солдата, способного, конечно, жадного до знаний и невероятно упорного в труде. Этого преданнейшего Советской власти человека отправили учиться на краскома, где ему, как легко догадаться, совсем ничего не стоило проявить свои недюжинные таланты. Так он и пошел - крестьянин от сохи, как писалось в тогдашних аршинных анкетах, так и начал свое бравое восхождение в верхах Красной Армии, куда бы и прорвался, разумеется, если бы несколько не перебрал со своей неистовой классово-гневливостью и со своим темпераментом "бедняка от сохи". Тут случались с ним протори и убытки, и говаривалось ему отечески, что дуги гнут не разом и не вдруг, но он не тишал, а все более громко требовал суровостей, крутых мер и тяжких наказаний там, где даже и выговора было многовато. Но речи его, когда произносились хриплые и бешеные слова о том, как "мы были голы и босы, и неграмотны, и не курумшие", все-таки воздействовали, и хоть в генералы Гурьянов не проскочил,

но некоторых высот достиг и на них не успокоился. В недоброй памяти тридцать седьмом году деятельность его по писанию изветов, доносов и ябед достигла размеров настолько гигантских, что соответствующие органы его арестовали как клеветника и осудили. Но, совсем недолго просидев, Гурьянов выскочил, порхнул крылышками, написал еще дюжину душераздирающих заявлений и двадцать второе июня встретил в звании майора Красной Армии лицом к лицу с противником, где и пошел без всякого к тому понуждения в плен, чтобы там, у обожаемых им фашистов, сделать наконец настоящую карьеру, достойную его способностей.

Холуй по натуре, он многие годы с душевным трепетом и восторженным упоением изучал все, что мог, об имперских вооруженных силах, изучил действительно порядочно и при первом опросе немецким обер-лейтенантом показал себя "идейным" противником Советской власти. Разговор даже тут был многообещающим, с кофе и "арманьяком", но все же Гурьянов не мог отделаться от того, что молокосос обер-лейтенант, ничтожный мальчишка, который еще недавно ходил в коротких штанах и был членом "Гитлерюгенда", разговаривал с ним высокомерно и презрительно.

И ощущение это было верным, потому что мальчишка видел перед собой первый раз не убитого и не расстрелянного советского майора, а майора-изменника и брезговал им, как впоследствии за все эти более чем два года войны Гурьяновым брезговали даже самые, что называется, подонки из подонков германской разведывательной службы. И нынче, сидя в жарко натопленной часовне перед лицом своего главного начальника - Грейфе, Гурьянов, не ожидая ничего хорошего для себя из медленно текущей беседы, желал лишь поскорее ее окончить и вернуться в Печки, напиться и уснуть, как делывал он ежедневно. Однако же Грейфе не торопился. Отнесясь к Хорвату, он посулил ему намеком повышение и дал понять Гурьянову, что как только Хорват получит новую должность, то обершарфюрер "может ждать" повышения в звании, вплоть до офицерского, так как, предполагает Грейфе, бывшему майору все-таки

тесновато в звании старшего фельдфебеля, хоть это и войска СС.

Глаза Грейфе вновь сверкали сатанинским пламенем Лойолы. Смеялся он или говорил серьезно? Или сверкало не пламя Лойолы, но серый порошок наркотика вместе с коньяком?

И Гурьянов все-таки выразил свою глубокую признательность и опять подщелкнул каблуками под столом.

- Изменение звания повлечет за собой и изменение должности, - сказал Грейфе. - Будем надеяться, что господин Гурьянов уже соответствует должности начальника разведывательно-диверсионной школы в тех же Печках, не так ли, господин Хорват?

- Абсолютно! - сказал Хорват.

Гурьянову хотелось подальше от переднего края. Все другие школы были ближе к тылу.

Дьявольское пламя разгоралось все пуще и пуще. Беседа не могла кончиться обещаниями и комплиментами, Гурьянов чувствовал это.

И действительно, доктор Грейфе резко изменил тон.

- Но это, господа, произойдет только в том случае, если хоть один из ваших питомцев выйдет в конце концов на связь с нами, - задушевым голосом сказал Грейфе. - Ибо такое положение терпимым быть не может. И более того, мы, если, разумеется, положение резко не изменится, мы склонимся к тому мнению, что вы оба, господа, работаете на большевиков и засланы к нам большевистским разведывательным центром. Может быть, вы об этом прямо мне и скажете?

Хорват и Гурьянов переглянулись. Румяный доселе Хорват посерел, серый Гурьянов порозовел.

- Так на кого же вы работаете? - совсем кротко осведомился Грейфе. - На нас или на Россию?

- Но господину оберштурмбанфюреру известно, я надеюсь, что засылаем агентуру не мы, а господа из абвера, - несколько дребезжащим голосом



произнес Хорват. - Мы же теряем наших питомцев мгновенно, теряем навсегда, навечно, а господа из абвера - с той секунды, как их увозят из Печек. Мы их даже не экипируем, мы не говорим напутственное слово, мы лишь комплектуем группы, и, как правило, наши группы перетасовываются уже здесь, в Пскове...

Школа номер сто четыре...

Грейфе тяжело шлепнул ладонью по столу.

- Разве я вас спрашивал об этом? - осведомился он.

Хорват замолчал и лишь подобрал с полу упавшую сигару шефа.

- Сколько секретных агентов среди ваших учащихся? - отрывисто спросил

Грейфе. - В процентах?

- От пятидесяти до семидесяти процентов.

- Они работают активно?

- К величайшему сожалению, нет, - произнес Хорват. Краска стала возвращаться на его щеки. - Они едят много, но больше бестолочь.

- Например?

- Например, выражалось недовольство кинофильмом без субтитров.

- А были случаи, когда вы получали сведения о том, что ваши курсанты, высадившись в расположении Красной Армии, не стали выполнять ваши задания?

Вернее, задания абвера?

- Да, такой случай имел место, - разрешил себе вмешаться по-немецки

Гурьянов. - Этих негодяев мы расстреляли в тот же вечер.

Он выговорил свою фразу как можно более четко и старательно, но доктор

Грейфе сделал вид, что не понимает, и только пожал плечами.

- Поясните! - велел он Хорвату.

Хорват повторил то, что сказал Гурьянов.

- Перед строем?

- Разумеется, - сказал Хорват своим интеллигентным голосом. - Их по очереди из пистолета расстрелял господин обершарфюрер Гурьянов. К сожалению, среди расстрелянных был наш лучший секретный агент - Купейко, на которого мы

возлагали большие надежды.

- Почему возлагали? - резко спросил Грейфе.

- Он нам дал ценную информацию в начале года. Два негодяя слушали радио из Советов и Би-Би-Си. Они привлекали других курсантов...

- А вы просто идиот, - вдруг опять мягким голосом произнес Грейфе. - Вы просто болван, Хорват. Цанге и Фридель - это были наши агенты у вас в школе. Наши проверочные агенты. Хорошо, что вы не успели их расстрелять.

Хорват совсем растерялся.

- Но тогда следовало нам быть хоть частично в курсе дела, - пробормотал он жалким голосом. - Ведь в конце концов...

- В конце концов вам не нравится наша система перепроверок? - сладко осведомился Грейфе. - Вы желаете, чтобы мы абсолютно доверяли таким господам, как этот ваш Гурьянов? Или вам? Или вашим преподавателям? Не предполагаете ли вы, что наше титаническое государство может держаться на доверии?

Разумеется, Хорват этого не думал. И поспешил заверить доктора Грейфе, что проверки и перепроверки есть самая действенная форма возможности доверять.

- Надеюсь, в вашей школе не введен сухой закон? - вдруг прервал Хорвата шеф.

- Нет, но мы стараемся...

- В пьяном виде люди откровеннее, чем в трезвом, - с тихим смешком сказал Грейфе. - Пусть болтают. Пусть возможно больше болтают здесь. Лучше проболтаться здесь, чем сговориться там и покаяться большевистским комиссарам. Пусть все будет наружу. Не зажимайте рты вашим курсантам, пусть задают любые вопросы на занятиях. Провоцируйте их. И пусть они видят безнаказанность, понимаете меня? Потом можно такого курсанта перевести в другую школу, где с ним покончат, но не делайте глупости, не расстреливайте перед строем. Не надо пугать, надо вызывать на абсолютную откровенность...

Лашков-Гурьянов облизал сухие губы. Грейфе в самом деле был дьяволом. Или как его там называли в опере про омолодившегося старика Фауста? Мефистофель?

- Но вы не огорчайтесь, - произнес Грейфе. - Вся эта система не мной организована. Тут вложил свой гений Гиммлер, здесь немало усилий покойного Гейдриха. И старик Канарис кое-что смыслит в своем деле. В моей личной канцелярии есть двое почтеннейших людей, моих сотоварищей по партии, которых мой покойный Гейдрих... я говорю "мой" потому, что мы вместе с ним начинали наш путь... так вот, он их приставил ко мне. А кого приставил ко мне Канарис? Его люди проверяют тех двоих и немножко меня.

Он рассмеялся.

- Каждый третий, - проговорил Грейфе весело. - На этом держатся наши успехи, наши великие победы, этим способом мы осуществляем единство нации. Каждый третий - или нас постигнет катастрофа. Но лучше каждый второй. Вам не кажется, господин Хорват, каждый второй лучше?..

Лашков-Гурьянов почувствовал на себе его взгляд. И подумал: "А они тут не посходили с ума?"

Грейфе положил на язык щепотку порошку и запил его коньяком. Потом он сказал строго:

- Теперь вернемся к нашим баранам, как говорят французишки. Ваш Купейко, кажется, что-то крикнул перед смертью. Что он точно крикнул, господин Лашков? Постарайтесь говорить внятно по-немецки, чтобы я понимал без помощи господина Хорвата. Ну? Я жду!

- Он напомнил о каком-то разговоре, имевшем место во время подрывных учений в деревне Халаханья, - опасливо и негромко произнес Лашков-Гурьянов.

- И еще крикнул, что надеется на курсантов.

- Это была двусмысленность? - вперив в Гурьянова свой издевательский взгляд, осведомился Грейфе. - Как вы поняли вашего питомца Купейко?

- Никакой двусмысленности я здесь не приметил, - сказал Гурьянов. - Он

ведь дальше закричал про победу Красной Армии, и тут я, каюсь, погорячился и выстрелил.

- А что вы выяснили про беседу на учениях в деревне Халаханья? - спросил опять Грейфе, продолжая вглядываться в совсем оробевшего Гурьянова.  
- Надеюсь, хоть это вы выяснили? Или мне надлежит прислать вам специального следователя? Вы оба, может быть, вообще не в состоянии командовать таким объектом, как Вафедшуле?

Гурьянов с тоской взглянул на Хорвата. У того ходуном ходил кадык, он все время пытался что-то проглотить, да никак не мог. "Даст тут дуба со своим миокардитом, - злобно по-русски подумал про него Лашков-Гурьянов, - как тогда я один управлюсь с этим идиотом?"

- В этом случае с расстрелом вы поступили весьма глупо и более чем поспешно, - произнес доктор Грейфе. - Сначала дознание, а потом казнь - неужели это детское правило вам не известно? Казнь есть этап заключительный, так нас учил Гиммлер, и никакое самоуправство здесь терпимо быть не может. Вы должны были этапировать преступников в Берлин. Или хотя бы ко мне, в Ригу. Там бы они все сказали. Я не сомневаюсь в том, что ваш Купейко был связан с партизанским подпольем, если его не заслали партизаны в нашу школу.

- Исключено, господин оберштурмбанфюрер, - вмешался несколько пришедший в себя после пережитого страха Хорват. - Купейко вербовал лично я. Он был в лагере в таком состоянии, что не мог пробежать положенные нами три испытательных круга по плацу, упал на втором. Вербовался он вместе со своим другом, его фамилию я запомнил - Лазарев, тот тоже хотел к нам попасть, но его мы не взяли по причине искалеченных ног. Этот вот Лазарев сказал мне в беседе, что Купейко - сын крупного табачного фабриканта и что он вместе с Лазаревым попал в плен в районе Харькова...

- Что Лазарев показал вам после казни Купейко?

- Лазарев сейчас служит в войсках РОА, и его местопребывание мы не установили, - вмешался аккуратным голосом Гурьянов. - Такая работа нам не по

плечу. Если бы господин...

Грейфе записал в книжечку инициалы Лазарева - "А.И."

- Он тоже сын фабриканта? - спросил оберштурмбанфюрер. - Если посмотреть личные карточки наших курсантов из военнопленных, - с медленной усмешкой сказал он, - то выйдет, что в России жили только одни фабриканты, заводчики, расстрелянные идейные вредители, раскулаченные кулаки и директора банков. И многие наши идиоты попадают на эту удочку...

Хорват внезапно осмелел.

- Но нам же приказано инструкцией вербовать именно этих лиц, - начал было он.

- Как Купейко попал в плен? - жестко перебил Хорвата Грейфе, давая голосом понять, что инструкции никакому обсуждению не подлежат. - Доложите подробно.

- По его словам, сдался намеренно. И по словам упомянутого Лазарева.

- Вы проверяли?

- К сожалению, после казни. Патологоанатом...

- Патологоанатом? - удивился Грейфе. - При чем тут патологоанатом?

- Так случилось, что, когда господин Гурьянов расстрелял негодяя, мы получили сведения о том, что Купейко в бане тщательно скрывал левую сторону тела...

- От кого сведения?

- От преподавателя взрывного дела ефрейтора Круппэ. Тогда мы отправили мертвеца на вскрытие. Он, то есть Купейко, никогда не сдавался, это показало позднейшее расследование. Он был подобран в бессознательном состоянии, и лечили его в каком-то подполье, которое и было накрыто нашей полевой жандармерией. Тут его опять ударили прикладом, но он выжил...

Грейфе демонстративно закрыл глаза, показывая, что ему надоело. А после паузы с угрожающей усмешкой осведомился:

- Надеюсь, вы отыскиали папу-фабриканта?

Хорват и Гурьянов попытались улыбнуться.

- Плохо, - сказал Грейфе и отхлебнул коньяку. - Очень плохо, господа, совсем плохо. Наши школы стоят бешеных денег фатерланду. Мы вкладываем в них огромный потенциал энергии, которая могла бы быть с успехом использована по назначению, гораздо более действенному и насущно необходимому имперским вооруженным силам, чем это осуществляется на практике. По три месяца, а то и по полугодю мы дрессируем, кормим, обучаем и одеваем тысячи людей, которые, как показывает практика, должны быть в лучшем случае направлены в газовые камеры, потому что они суть враги новой Европы. Но мы, вместо того чтобы уничтожать эти контингенты, снабжаем их оружием, боеприпасами, питанием, снабжаем их современным оружием, безотказной радиоаппаратурой и на наших самолетах, подвергая риску наших пилотов, со всевозможной безопасностью сбрасываем эту, с позволения сказать, агентуру в тыл нашего противника, а по существу к себе домой. Там ваши выученики и воспитанники сдаются, а мы утешаем себя тем, что они пленены после героического сопротивления.

- Почему же непременно сдаются? - опять задрезжал голосом Хорват. - Может быть, их задерживают, так как не исключена возможность...

- Исключена! - обдав Хорвата бешеным пламенем своих оглашенных глаз, рявкнул доктор Грейфе. - Исключена, потому что нет контрразведки сильнее и активнее нашей, однако мы твердо знаем, что их агентура к нам просачивается и работает на них. Их Иваны торчат здесь повсюду, они даже контролируют железные дороги в нашем глубоком тылу. Разве вам это не известно? А ваши мерзавцы вообще не выходят на связь. Если же выходят, то только для радиоигры, которую мы всегда проигрываем. Мы даем всем легчайший шифр формулы "работаю под принуждением", но ни одна сводка, ни одна, не дала мне, - брызжа слюной и надвигаясь на Хорвата, сказал шеф, - не дала этого "принуждения". Даже не попадаясь, они находят части своей армии и сдаются, вот что они делают, ваши выученики, и вот, следовательно, чему вы их учите и

выучиваете!

Он вытряс в свой стакан остатки коньяку и велел Хорвату сходить к его автомобилю и принести оттуда бутылку.

- Шофера зовут Зонненберг! - крикнул он в узкую спину совсем скисшего Хорвата. И, взглянув на Лашкова-Гурьянова, спросил деловито: - Как вы предполагаете, он не работает на русских?

Гурьянов даже не понял сразу, о ком идет речь.

- Любые свои предположения вы можете написать лично мне. Конверт оформляется как нормальная секретная почта, и никто ни о чем никогда не узнает. Вы должны следить за вашим начальником, понимаете?

Гурьянов быстро дважды кивнул.

- Впрочем, это между нами! - предупредил немец и, не поблагодарив Хорвата, приказал Гурьянову откупорить бутылку. Глаза его смеялись почти добродушно, когда он спросил у начальника, не работает ли его Лашков, "подполковник или майор в прошлом", как он выразился, на русских.

- Не думаю, - покашляв в кулак, ответил Хорват.

- Еще бы вы думали, - уже засмеялся шеф. - Но вообще смотрите за ним, черт его разберет.

Посмеявшись, Грейфе предложил выпить всем вместе.

- Отчего не выпить на досуге? - спросил он - Не правда ли? А на мою подозрительность не обижайтесь, господа. Я слишком осведомлен для того, чтобы кому-либо, когда-либо верить. Себе я тоже верю с трудом. Своим глазам. Например: где мы? Почему мы тут? Почему этот майор в прошлом с нами? Чьи боги нарисованы на стенах? Здоровы ли мы психически?

И он замолчал надолго, быть может сладко прислушиваясь к тому, как работает таинственный серый порошок, изобретенный для избранных химиками "Фарбендиндустри".

"Угостил бы! - подумал Лашков. - Наверное, получше шнапса!"

- Вы решительно во всем правы, господин доктор, - осторожно нарушил

молчание Хорват, - но ведь не исключено, что наша школа готовит агентуру и на длительное оседание. Во всяком случае, особый курс у нас существует с основания школы. А такие агенты не имеют права давать о себе знать.

- Да что вы! - издевательским голосом произнес шеф. - В первый раз слышу. Неужели?

Серый порошок срабатывал, видимо, на славу. Угасшие было глаза Грейфе вновь начали светиться фанатическим огнем.

- Может быть, вы прочтете мне курс конспирации разведочной агентуры? - осведомился он. - Я бы прослушал. У меня есть и время для этого...

Хорват сконфузился и сделал вид, что протирает очки.

- Купейко был бы хорошим резидентом на глубокое оседание, - серьезно, без усмешки произнес Грейфе. - Отличным. Смотря только на чьей стороне. Вам, кстати, не кажется странным, что рабочие качества человеческой особи иногда раскрываются после смерти. То есть я хотел выразиться в том смысле, что как человек умирает - таков он и есть на самом деле?

Гурьянов и Хорват промолчали, у них не было никаких мнений на этот счет. Грейфе раскурил сигару. Он заметно оживился от своего порошка и от коньяка тоже, пот высыпал на его высоком лбу.

- Вас информируют о чем-либо в смысле действий вашей агентуры или вы решительно ничего не знаете? - осведомился шеф. - Хотя что-нибудь вам сообщают?

- Только один раз нам прислали литографированное сообщение из английской печати о том, что мощная диверсионная группа, выброшенная в Ленинград, была после выполнения своих заданий ликвидирована органами МГБ.

Хорват помедлил: говорить дальше или нет? Грейфе молча сосал сигару.

- Сообщение в школе я не вывесил, - сказал Хорват. - Такие вести не укрепляют моральный дух курсантов...

- Тем более что в Ленинград мы никого не выбрасывали, - усмехнулся Грейфе, - это все фантазии писак из отдела пропаганды "Остланд". Без моего



грифа прошу все литографированные сообщения уничтожать. Теперь послушайте меня. Я вам расскажу кое-что. Кое-что из жизни. Из невеселой жизни.

Он опьянел довольно основательно.

- У меня, у меня самого, в отделе "Норд" на станции Ассари работал советский разведчик. Вы понимаете, что это значит?

Хорват и Гурьянов понимали. Они оба даже перестали дышать. Уж это не литографированное сообщение из английских газет - это говорил сам Грейфе.

- В ванной комнате он ухитрился держать рацию. Не в своей квартире, а в здании моей разведки. Ванна, конечно, там не работала. У него была якобы фотолаборатория. И вдруг мое здание запеленговали. Вы понимаете?

И это они понимали.

Пожалуй, им стало полегче. Уж если такие крокодилы, как Грейфе, ухитряются держать при себе советских разведчиков, то что можно спросить с какого-то начальника школы и его заместителя?

- Он выбросился из окна головой о камни. Вот и вся история, - сказал Грейфе. - Тут и начало и конец. А в отделе "А-1" еще похуже, - слава господу, что там я не командую. Там работала целая группа советских разведчиков. Приезжала комиссия из Берлина. Лейтенант Вайсберг оказался Кругловым. Его опознали. Было расстреляно сто девять человек.

Он выпил еще и посмотрел бутылку на свет.

- Со следующей недели вы будете получать регулярную информацию о том, куда, когда и даже с какими результатами забрасываются ваши паршивцы, - сказал Грейфе. - Вы будете получать и информацию, и наши выводы. Вы будете получать все для того, чтобы знать, сколько времени осталось до рассвета...

Гурьянов и Хорват глядели на шефа неподвижными зрачками.

- На рассвете обычно казнят, - отпив еще коньяку, сказал шеф. - Должны же вы знать, когда это с вами произойдет? Ну, а возможно - почему же нет? - возможно, что ваши воспитанники действительно так хороши, что заброшены на длительное оседание. Тогда это... дорогой товар, очень дорогой...

Доктор Грейфе вдруг задумался.

- Он много пьет? - спросил вдруг шеф, кивнув на Лашкова-Гурьянова.

- Вечерами, - сказал Хорват.

- Я не спрашиваю - когда. Я спрашиваю - много ли?

- Порядочно, - твердым голосом произнес Хорват. - Мог бы меньше.

- А этот? - отнесся шеф к Гурьянову.

"Сволочь, - подумал заместитель. - Сейчас ты у меня попляшешь!"

И ответил, стараясь не замечать стеклянного блеска очков своего начальника:

- Мы пьем обычно вместе. Поровну. Господин Хорват делит все наши блага по-братски.

Но Грейфе уже не слушал.

- Контрразведкой здесь против нас ведает очень крупный чекист, - сказал он. - Вы это должны знать. Генерал Локоткофф. Но то, что он генерал, знает только "Цепелин". Он конспирируется старшим лейтенантом. Есть сведения, что мы получим приказ об уничтожении этого субъекта, не считаясь ни с какими затратами и потерями. И надеюсь, мы выполним этот приказ. Не правда ли, господа?

Он поднялся, давая понять, что беседа окончена. Еще минут десять он просидел в одиночестве, потом не торопясь оделся и вышел из часовни, возле которой два часовых отсалютовали ему автоматами. Зонненберг распахнул перед доктором Грейфе дверцу "адмирала", обтянутую имитацией красного сафьяна. В машине пахло крепкими духами и мехом, грубой овчиной, которой Грейфе любил покрывать ноги в долгих поездках по русским дорогам.

- Куда? - спросил Зонненберг.

- Пожалуй... в Ригу.

- Тогда нужно вызвать автоматчиков и мотоциклистов.

- К черту! - ответил Грейфе. - Выезжайте из этой крысоловки, я еще подумаю...

Зонненберг нажал сигнал, "оппель-адмирал" пропел на двух тонах - выше и ниже. У ворот вспыхнула синим светом пропускная контрольная лампочка. Ехали они недолго. Неподалеку от Поганкиных палат машина притормозила.

- Я пройду, - сказал Грейфе. - Вы подождите здесь, Зонненберг.

Стрелки часов на приборной доске автомобиля показывали девять. Было темно, моросил весенний дождь. Из-за угла навстречу Грейфе вышел высокий костлявый человек в широком пальто и в низко надвинутой на лоб шляпе. Грейфе сказал ему на ходу:

- Приезжайте в Ригу. Здесь нет возможности поговорить. Я вызову вас повесткой в свой кабинет, и вы явитесь незамедлительно. Вы ведь швейцарский подданный?

- Моя фамилия - Леруа, - ответил высокий и слегка приподнял шляпу.

А шофер Зонненберг записал в это время: "21 час. Встреча возле Поганкиных палат. Широкое пальто, длинный. Беседа не более минуты".

#### **ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ**

- И что ты все смалишь табаком и смалишь? - сказал Локотков, умело и ловко зашивая вощеной дратвой свой прохудившийся сапог. - Не умеете вы, девушки, курить, как я посмотрю...

Инга не ответила.

- Напишу твоему папаше, приедет - выпорет! - посулил Иван Егорович. - Даже смотреть неприятно, как ты себе здоровье портишь. Твой папаша - доктор?

Инга кивнула.

- От чего лечит?

- Он доктор не медицинский. Археолог.

- Тоже неплохо, - покладисто сказал Иван Егорович. - Эвакуирован, как

талант?

- Командует артиллерийским полком, - сухо сказала Инга. - Они еще молодые, мои родители, им по двадцать было, когда я родилась. Почитать вам что-нибудь?

- Почитай, - согласился Локотков, - почитай. Стихи?

- Стихи.

- Кстати, ты не помнишь, чей это такой стих: "Как дело измены, как совесть тирана, осенняя ночка темна?"

- Не помню, - подумав, ответила сердитая переводчица. - Слышала, а не помню.

И погодя спросила:

- Вы всегда про свои таинственные дела думаете? Или можете вдруг заметить, что уже весна, что птицы бывают разные, что они поют - война или не война, что нынче, например, жаркий был день?

Локотков еще раз с силой продернул дратву и сказал:

- Это я в газетах читал - была такая дискуссия про живого человека. Который водку пьет - тот живой, а который отказался - тот неживой. Так я, Инга, живой и даже еще совсем не старый, только с первой военной осени ревматизм заедает. Болезнь стариковская, а мне и тридцати нет, хоть, конечно, и тридцатый год - не мало. Ну и устаю, случается. Тебе смешно - вояж-вояж, а мне не до смеху.

Он протер воском дратву, вздохнул и велел:

- Читай стихи свои, оно лучше будет.

- Это про вас, - сказала Инга, и лукавая улыбка дрогнула в ее серых глазах. - Называется "Чекист".

Локотков с любопытством взглянул на свою переводчицу. А она начала тихо читать:

Молчи, скрывайся и таи

И чувства и мечты свои!  
Пускай в душевной глубине  
И всходят и зайдут они,  
Как звезды ясные в ночи.  
Любуйся ими и молчи...

- Это классическое, - перебил Локотков, - а чье именно, врать не стану  
- не помню...

Инга шикнула на него и сказала:

- Вы слушайте! Это я так думаю:

Как сердцу высказать себя?

Другому как понять тебя?

- Ладно, - с усмешкой произнес Иван Егорович, - кому надо, те понимают.  
Что надо - делают. И как надо. Выдумщица ты и фантазерка, Инга, вот что.

Он подергал дратву, полюбовался еще не оконченной работой и подумал о том, что хорошо бы съездить к семье в Саратовскую область, похлебать с сынами щей, передохнуть, поговорить с женой. А вслух произнес:

- "Молчи, скрывайся и таи", вот как, товарищ Шанина. Но не про чекиста.  
Чекист без народа - ноль без палочки. Ты в это вдумайся, сама, между прочим, в особом отделе работаешь...

После Шаниной Локоткова навестил Ерофеев, лучший подрывник бригады.

- Думал, спишь, - сказал он сверху, со ступенек, - там к тебе один  
гитлеровский паразит просится.

- Какой такой может быть паразит? - с силой продергивая дратву,  
осведомился Локотков. - Откуда у нас гитлеровские паразиты?

- Да ты что, спал, верно, что ли? - удивился Ерофеев. - Еще поутру они  
перешли - тридцать два солдата РОА и военнопленных штук под двести из лагеря

да из гарнизона Межничек. Привел их парень молодой, изменник, сволочь, вот он и просится к тебе. Да где же ты был, что ничего не знаешь?

- Где был, там меня нету, - сказал Иван Егорович, - а где нету, там побывал. Слышал такую присказку?

- И как тебя еще не убили?! - искренне удивился Ерофеев. - Ребята брешут, что ты и в Псков ходишь, и будто в самую Ригу наведывался.

- В Берлине давеча кофей с Гитлером пил, - сказал Локотков. - Побеседовали о том о сем. Вот так я, а вот так Гитлер. И пирожками закусывали...

Он выслушал длинное повествование Ерофеева о том, как нынче переходили к партизанам изменники Родины, а погодя зевнул и потянулся.

- Ладно вздор-то пороть, Ерофеич, - сказал он сквозь длинную зевоту, - я же сам их принимал нынешний день. Там и был, у обозначенного хутора. А ты как раз спал и все тут мне одни побрехушки рассказываешь. Отсыпь табачку и иди. У тебя табак всегда есть.

Оконфуженный Ерофеев ушел, сделав вид, что про табак забыл. А через несколько минут заскрипела дверь в землянку и чей-то голос, незнакомый и молодой, вежливо осведомился:

- Здесь размещается особый отдел?

Незнакомец еще не спустился в землянку, Ивану Егоровичу видны были пока только ноги в немецких разбитых ботинках.

- А ты зайди совсем, - сказал Локотков. - С головой взойди.

Он полюбовался окончательно зашитым сапогом и вскинул глаза на вошедшего. Это был человек лет двадцати двух, очень худой, с обветренным лицом и зорким взглядом светлых и дерзких глаз. Одет он был в немецкую шинель, но без орла со свастикой, на левом рукаве Иван Егорович разглядел знакомую эмблему боевого союза - трехцветный флаг, белый, синий и красный, с надписью "За Русь".

- Так, - сказал старший лейтенант и, аккуратно замотав портянку,

обулся, - сам пришел или взяли?

- Бывший младший лейтенант Лазарев Александр Иванович, - спокойно и с каким-то странным облегчением в голосе представился вошедший. - Сдался сам.

Привел солдат, тридцать два человека...

- С оружием?

- Так точно, с оружием. И военнопленных сто девяносто. А к вам явился с просьбой: или расстреляйте нынче же, или поверьте.

Локотков внимательно посмотрел на Лазарева.

- Быстрый, - сказал он. - Ультиматумы ставишь. Давай сначала ознакомлюсь, что ты за птица и какого полета. Расстрелять успеем. Садись.

- Прежде всего, вы мне должны поверить, - твердо произнес Лазарев. -

Если вы мне не поверите...

Иван Егорович прервал гостя:

- "Верит - не верит, любит - не любит, любит - поцелует..." Это ты девушкам станешь говорить, - строго сказал он. - Здесь для такого разговора не место да и не время. Кто тебя сюда послал?

- Командир вашей бригады. Я уже четвертый раз прихожу, вас все нет да нет...

- Это вроде того, что я свои приемные часы не соблюдаю?

Лазарев промолчал. Теперь Локотков понял, что глаза у него не дерзкие, а веселые, но в данных обстоятельствах взгляд бывшего младшего лейтенанта, разумеется, выглядел дерзким.

- Чему радуешься? - спросил Иван Егорович.

- Домой пришел - вот и радуюсь.

- Думаешь, и впрямь будем тебя пряниками кормить?

- Дома и солома едома.

- Вострый. Рассказывай свои небылицы.

И Локотков положил на стол клочок дефицитной бумаги.

- Протокол писать будете?

- Зачем? Сразу же приговор.

- А что рассказывать?

- Все. По порядку. Только не ври ничего, - как бы даже попросил Иван Егорович. - Меня вруны утомляют, и с ними я заканчиваю быстро. И что произошел ты из пролетарской семьи, не надо мне говорить, говори только дело.

- У вас закурить не найдется? - спросил Лазарев.

- Пока что нет, - сказал Локотков, - мы в партизанах живем небогато. С дружками делимся, а с неизвестными нет. Или ты, парень, располагал, что к нам вернешься и мы тебе за то хлеб-соль поднесем?

Лазарев по-прежнему дерзко-весело смотрел на Локоткова.

- Хотите - верьте, - сказал он, - хотите - нет. Я знал, на что шел. Но только думал, ужели судьба так ко мне обернется, что и умереть не даст человеком. Немцы нас все время убеждали, что тут всех расстреляют, кто вернется, я даже иногда верил. А иногда думал: что ж, пускай. Я рассуждал так...

- Послушай, Лазарев, - сказал Локотков, - рассуждать после победы станем. Ты подумай, в какой форме человек передо мной сидит. Подумай, что у него на рукаве нашито. И давай по делу говорить. Покороче. Когда, как, при каких обстоятельствах попал в плен?

- Струсил и попал.

Локотков растерянно поморгал: еще никогда и никто так ему не отвечал.

- Как это струсил?

- А очень просто, как люди пугаются внезапности. Они только про это не говорят, они все больше рассказывают, как ничего не боятся. А я вам говорю правду.

- Говори конкретнее.

- Поконкретнее - как нас из эшелона возле разъезда Гнилищи вытряхнули, путь дальше взорван был, и эшелону не удалось уйти, за нами они тоже линию



взорвали, вот тут это и случилось.

- Что случилось?

- Болел я, понимаете, - сердясь, ответил Лазарев - Болел сильно желудком. И от этой болезни, и от стыда, что вроде, выходит, трушу, совсем был слабый. Физически сильно сдал. Думал, так пройдет, думал война - еще не то придется выдержать. Совсем, короче говоря, стал плохой. А тут санинструкторша попалась, я ей и поведал свои горести. Она мне три таблетки дала. И как рукой сняло. Но только совсем уж я был слабый. Думаю, хоть час посплю, единый час.

- Во сне и взяли? - догадался Локотков.

Лазарев удивился:

- А вы откуда знаете?

- Бывает, рассказывают.

- Значит, окончательно не верите?

- А ты не гоношись, - посоветовал Иван Егорович. - Опять напоминаю, какая на тебе форма, а какая на мне...

На это напоминание Лазарев не сдержался и произнес тихо:

- На вас-то вообще ничего не видно, никакой такой формы.

- Но-но! - возразил Локотков. - Все ж таки...

- Да что все ж таки?

Они помолчали. Иван Егорович сбросил с плеч ватник, одернул гимнастерку, привычным жестом заправил на спине складки. И подумал, что формы действительно на нем никакой особой нет. Нормальная партизанская одежда.

- Что же за таблетки были такие особые, что ты из-за них уснул? - продолжил он допрос.

- Впоследствии мне объяснили: с опиумом. А от опиума сон разбирает.

- Не отстреливался?

- Нет, - печально ответил Саша. - Я же спал. Они меня сонного прикладом

огрели - долго башка трещала. И у сонного пистолет отобрали. Это как со Швейком, хуже быть не может.

- Ладно, со Швейком, - прервал Иван Егорович, - дальше что было?

- Дальше санинструктора нашего увидел - девушку убитую. И словно она надо мной смеялась за те таблетки, что я выпил. Рванулся из колонны, побежал, ранили, но не убили. А я хотел, чтобы непременно убили.

- Для чего так?

- Смеетесь?

- Вопрос: для чего хотел, чтобы убили?

- Говорю, свой позор перенести не мог.

- А сейчас вполне можешь?

- Вы не так меня понимаете. Я себе войну с мальчишества представлял, как в кино. Непременно-де в ней красота, храбрость, удаль, и конники летят лавой с саблями наголо. А вышло так, что заболел я животом, ослабел, заснул и попал в плен. Теперь: я поначалу видел только внешнюю сторону своего пленения и хотел смерти. Я думал не о том, что пленен, а думал, как некрасиво я пленен. А потом вдруг я понял, что не в этом дело, и старался обязательно выжить, чтобы подвигом свой позор перекрыть. Я бы мог много раз с красивой позой погибнуть, но я мечтал как угодно жить для пользы Родины. А тогда дураком был, хотел, чтобы убили. Ну и тут не задалось, как нарочно. Палят и палят без толку.

- Так плохо фрицы стреляли, что даже и не подранили?

- Ранили.

- Куда?

- По ногам. И в бедро. Плечо еще, сволочи, проббили. Но все в мясо, по костям не попадали.

- Везло! - иронически сказал Локотков.

- А я покажу, - взорвался вдруг Лазарев. - Любой врач подтвердит. И если хотите знать, то я даже нашивки носил - два флюгпункта, это означало,

что я беглец, дважды пытался бежать, и что в меня надо стрелять без всяких предупреждений. Они меня и в РОА взяли, потому что считалось, нет храбрее меня Ивана во всем нашем лагере. Я их ни хрена не боялся, может, потому и живой на сегодняшний день...

Глаза его сделались еще более дерзкими, совсем наглыми, и он спросил жестко, в упор:

- Что такое зондербеHANDLЮнг - вам известно?

- Нет, не известно, - все тверже веря Лазареву и удивляясь этой вере, сказал Иван Егорович, - это кто такой?

- Не кто, а что; это "специальная обработка", "слом воли", это когда они решают не убить, а переломить. Убить - просто, а показать всем заключенным, что они переломили, покорили, - труднее. Например, карцер на сорок два дня с питанием один раз в трое суток. Без света, в темноте. Это не кто, это что, - повторил он, - это такое "что", которое очень надолго человек запоминает. Это забыть никогда нельзя, как их крики нельзя забыть...

И визгливым фальцетом, наверное очень похожим на то, что он слышал не раз, Саша Лазарев закричал так громко и холодно-яростно, что Иван Егорович при всей его выдержке даже слегка вздрогнул.

- Ахтунг! Мютцен аб! Штильгештанден! Фюнфцен пайче Вайтер! Цвай ур кникништейн!

- Ладно! Будет! Все равно не понимаю, - сказал Локотков.

- Не понимаете? Не не понимаете, а не верите, - вдруг, видимо ужасно устав, произнес Лазарев. - Кто это выдержал, тому не верить нельзя. Это про шапки долой и что стоять смирно. Про плети и про штрафной спорт. Э, да что...

Молчали долго.

- Утомился? - спросил наконец Локотков. - Может, завтра продолжим?

- Зачем еще завтра жилы тянуть? Давайте сегодня, - с тяжелым вздохом сказал бывший лейтенант. - Мне знать надо, на каком я свете...

- Ладно, сегодня так сегодня, - миролюбиво согласился Иван Егорович. -  
Объясни, почему фрицы всех добивали, а тебя ранили и не доби́ли. Чем ты такой  
особенный?

Лазарев внезапно встал.

- Тогда не надо никакого разговора, - быстро и спокойно сказал он. -  
Если не верите, расстреливайте сразу. Я и жил-то только в надежде, что  
искуплю, что отомщу, а тут, конечно, никто не верит и не поверит...

Он даже и к ступенькам шагнул, но Локотков на него прикрикнул:

- Тебя я отпустил, что ли? Где находишься? Сядь на место и сиди. Он,  
видишь, нервный, а мы на курорте проживаем. Вопрос: почему они всех  
добивали, а тебя не доби́ли? И отвечай на поставленный вопрос.

- Я давеча уже докладывал: сломать хотели. И другим демонстрацию  
сделать - видите, каких мы зубастых обламываем. Так я рассуждаю.

- Может, завербовали тебя, Лазарев, сразу?

- Небогатый вопрос, - тяжело взглянув на Локоткова, ответил Саша. - Не  
пойму, для чего.

Иван Егорович и сам понял, что вопрос "небогатый", да он как-то сам  
собой, по привычке выскочил. А бывший лейтенант, словно заметив мгновенное  
смущение Локоткова, зевнул и вновь поднялся.

- Пойду я, - сказал он. - Картина для меня ясная!

- А ты не нахальничай, - сурово приказал Иван Егорович. - Вопрос,  
видишь, ему не подошел. Я чекист, а ты пока что, на данное еще время, -  
подчеркнул он твердо, - изменник Родины. Ясно? Понятно тебе? И пока я не  
разберусь согласно моей совести, мы с тобой, Лазарев, закуривать не станем.

При этом он совершенно не помнил, что табаку у него нет даже на одну  
завертку.

- Ладно, - согласился Лазарев, - вы извините. Опять мне красоты все  
представлялись: как приду сюда и меня встретят поздравлениями, что столько  
народу благополучно вернул Родине. Между прочим, товарищ начальник,

покормить бы их не мешало, народ отощал очень.

- А ты давно их видел?

- Порядочно.

- Почему же думаешь, что не кормлены?

Лазарев несколько смутился.

"Нахальный, - уважительно подумал Иван Егорович, - несколько свое достоинство не принижает. Злой, а не боится. Может, он и есть этот главный для меня человек?"

Мысль была такой неожиданной, что Локотков даже несколько оробел, не сболтнул ли он ее вслух. Но видимо, не сболтнул, потому что Лазарев возился со своим ботинком.

- Чего там копаешь? - спросил Иван Егорович.

- Товар принес, - сказал Саша.

- Какой еще такой товар?

На стол перед Иваном Егоровичем он положил большую ладанку из тонкой медицинской клеенки. Локотков подал Саше ножик и с радостью подумал, что стена, которая всегда стоит между подследственным и следователем, шаткая и что с каждой минутой их собеседования она все более и более разрушается.

Лазарев в это время протянул ему листки папиросной бумаги.

- Тут что? - отлично догадываясь по первому взгляду, "что тут", осведомился Иван Егорович.

- Всего понемногу, - стараясь поскромнее подать свою, действительно исключительную по мастерству и точности изображения работу, ответил Лазарев.

- Все тут имеется. Где бывал - заносил разведданные.

- Расшифруй! - велел Локотков.

- Это проще всего, - сказал Саша, - сейчас мы вам всю картину в цветах и красках исполним...

И он пошел расписывать от Псковского озера на Валгу, от Печоры до Острова, оттуда на Невель, к Дну и Порхову.

- Эдак закружишься, - сказал Иван Егорович, - давай по порядку.

- А я по порядку как раз именно и запутаюсь, - ответил Лазарев. - У меня свой порядок, по мере того, как нашу роту фрицы гоняли. И вы меня не сбивайте, я и так свой мозговой аппарат перегрузил слишком...

Локотков принялся записывать. Данные Лазарева были и интересными, и иногда совсем неожиданными. Рассказывал бывший лейтенант действительно "в цветах и красках"; с каждым часом беседы Локоткову становилось все яснее, что глаз у его собеседника точный, словно учили его не на пехотинца, а на доброго разведчика. В уме он сопоставлял собственные сведения с лазаревскими и понимал, что парень ничего не врет, но лишь уточняет и порой сообщает неожиданные новости.

Часам к четырем ночи, когда оба они совсем извелись от усталости и Локотков убедился в том, что Лазарев нигде не подсунул ему дезинформацию, Иван Егорович подвел беседу к своему коньку - к школе в Печках, к ВафеншULE. Как бы мимоходом повернул он беседу на разведывательно-диверсионную школу.

- Кого здесь знаешь? - спросил Иван Егорович. - Кого можешь назвать из заброшенных фашистами на нашу территорию?

- Заброшен сюда, предполагаю, мой самый большой дружок - Купейко. Он имел планы, большие даже планы, рассчитывал, что сбросят его на нашу территорию в апреле.

- Сын фабриканта ваш Купейко?

- Сын... фабриканта? - с удивлением переспросил Лазарев. - А вы...

- Здесь я вопросы задаю! - обрезал своего собеседника Локотков. - Лично я. Понятно?

- Так точно, - все еще удивляясь, проговорил бывший лейтенант, - понятно.

Он немного помолчал, свыкаясь с мыслью, что мужиковатый его собеседник знает до чрезвычайности много. Но Локотков смотрел выжидательно, хоть и без особого любопытства, и Лазарев продолжал.

- Я тоже в эту школу имел намерение завербоваться, - продолжал он, но меня туда не взяли из-за ног. А Купейко мой шибко пошел, он радист мозговитый, вообще к технике у него склонности от природы, если бы не война, наверное, в ученые бы подался. Еще в лагере располагал после школы выброситься в советский тыл и, сдавшись, большую радиоигру сделать - принять на свою пресвятую троицу десант - в подарок нашему командованию...

- Уточните, какому "нашему" командованию? - жестко одернул Лазарева Локотков.

Лазарев мучительно порозовел.

- Нашему - советскому, - сказал он не сразу.

- Продолжайте показания.

- Продолжаю. Купейко совсем слабый был в лагере, боялись мы, что не выдержать ему ихнее испытание. На помоях, которыми нас кормили, он бы и не выдержал. Так мы половину своих пайков ему десять дней отдавали. Чтобы от всех нас один человек пользу принес.

- Вопрос: доверяли ему?

- Доверяли.

- Вопрос: обежал ваш Купейко плац?

Опять Саша Лазарев уставился на Локоткова: и про плац знает! Сам, что ли, там был?

- Отвечайте: обежал плац?

- Плохо обежал. Упал два раза. Но автобиографию мы сделали для него сильную, никуда не денешься. Мои были лично зафиксированы фантазии, вот это, как вы сказали, сын фабриканта. А на самом деле этот самый фабрикант знаменитый был карусельщик в Харькове на заводе.

- Вас кто в школу вербовал, персонально?

- Персонально Круппэ.

- Живой этот Круппэ, не слышали?

Он смотрел на Лазарева внимательно: если Круппэ живой, вся та затея,

которая вновь как бы пробудилась в Локоткове, обречена на провал.

- Не знаю, живой или откомандированный, они часто там людей меняют, - позевывая от усталости, ответил Лазарев. - Я бы его, пожалуй, сейчас и не признал, - сквозь длинную зевоту проговорил бывший лейтенант, - видел-то едва минуту, там, на плацу.

Иван Егорович будто и не слушал Лазарева. Это у него был такой маневр - самое главное и основное он вроде бы и пропускал мимо. Впрочем, он очень устал, почти обессилел. Мог же и он устать! Да и ноги болели, гудели больные ноги. Чертова медицина! Хвастаются-хващаются своими передовыми достижениями, а капель от ревматизма не придумали!

- Купейку-то выдумал или в самом деле есть такой? - осведомился он.

Лазарев горячо ответил в утвердительном смысле и даже добавил что-то про то, как Купейко небось уже и выбросился со своими поддужными, и немецкий десант на себя принял, и как сдал его советскому командованию, а Локотков все думал свои думы про этого Купейко, о котором знал многие подробности и на которого даже когда-то рассчитывал. Но Купейко сорвался, не выдержал и жизнью своей заплатил за минутную горячность. И жизнь пропала, и дело сорвалось. "Этот, интересно, так же ли горяч?" - подумал Иван Егорович и внимательно взгляделся в лицо Лазарева, которому уже до всяких проверок и перепроверок успел поверить и на которого твердо рассчитывал в своем замысле...

Так беседовали они не раз и не два.

Теперь это были действительно собеседования, а не вопросы одного и ответы другого. Случалось, что отвечал и Локотков на горячие Сашины вопросы о Сталинградской битве, о ленинградской блокаде, об американских и английских морских конвоях, о сроках дней победы.

И чем подробнее и дольше беседовали, тем более доверял Локотков дерзости открытого взгляда Саши Лазарева, тем глубже утверждался в своем мнении насчет намеченной им операции и тем серьезнее выверял, перепроверял и



выяснял все, что связано было с разведывательно-диверсионной школой в Печках. Впрочем, Саша Лазарев даже приблизительно не был в курсе намерений Ивана Егоровича...

## ГЛАВА ПЯТАЯ

- Автомат мой дайте, - твердо, но не дерзко сказал Лазарев Локоткову. - Я с оружием сюда пришел и с полными дисками.

Солнце жарило их со всей щедростью погожего июньского дня. Инга стояла рядом с Лазаревым, на этот раз не курила, огромные ее глазищи тоже глядели на Локоткова кротко и даже просительно. Такого выражения глаз у Шаниной Иван Егорович никогда не наблюдал.

Черт бы их подрал! Разве мог он объяснить, что все эти ночи думал о Лазареве вовсе не как об автоматчике в лесном партизанском бою. Уложат горячего парня - и прощай весь план. А не дать?

- Продумаю, - сказал Иван Егорович и сам удивился, до чего похож его голос на голос какого-то знаменитого артиста, который в кино играл бюрократа. - Продумаю! - повторил он, едва не повторив "согласую" из той же кинокомедии. - Через часок наведайся...

Лазарев хотел что-то произнести, но лишь подавил вздох и зашагал к избе, в которой размещался его взвод. Теперь бригада заняла деревню, ту самую, где когда-то проживали Недоедовы и где Локотков застрелил пьяного полицая. И партизанский госпиталь был в избе, и штаб; комбриг жил роскошно - в мезонинчике, хоть многие еще и квартировали в землянках: две тысячи с лишком народищу! Немцы в этих районах не показывались, тут вновь правила Советская власть.

- Почему вы Лазареву не доверяете? - спросила из-за его плеча Инга.

- А почему ты решила, что не доверяю? - почти зло ответил он. И подумал, что ждал этого дурацкого вопроса с того мгновения, как понял, что Шанина идет за ним.

- Интуиция чекиста? - услышал он ее дерзкий голос.

Пожалуй, следовало ответить. И Иван Егорович обернулся к ней, чтобы "разъяснить", как он выражался, но ничего не ответил и не разъяснил. Он увидел ее лицо, лицо другой девушки, лицо не сердитой Инги, которая грубыми словами отбивалась от назойливых ухажеров и даже, случалось, дралась, царапаясь со свирепостью кошки, а подлинное лицо Инги - открытое, смущенное, печальное, с застенчивой и даже робкой улыбкой.

"Ну Лазарев! - внезапно перестав сердиться, подумал Иван Егорович. - Ну парень хват!" И, неосторожно усмехнувшись, спросил:

- А ты почему именно Лазареву в его преданности и патриотизме поверила? То все ребята тебе пустозвоны, хвастуны и хулиганы, то вдруг именно Лазареву давай оружие? Почему так?

Они шли медленно, за околицу, к леску, за которым начинался бор, к землянкам, в которых летними, знойными днями было не хуже, чем в деревне Дворищи.

- Почему? - растерянно произнесла Инга. - Не знаю, Иван Егорович. Но только... кажется... ему нельзя не верить...

Локотков сбоку взглянул на свою переводчицу. И заметил не только новое выражение ее лица, не только смиренно опущенные ресницы, но и прическу совсем иную, с пробором посередине, с туго свернутыми косами над ушами, с косами цвета спелой пшеницы, с косами, которые все эти длинные годы товарищ Шанина прятала либо под ушанкой, либо под пилоткой, во всяком случае, никогда до этого дня Локотков никаких кос у Инги не видел. Ему даже захотелось спросить ее про эти косы и как это она управлялась, так здорово их пряча, но для начальника такой вопрос выглядел бы несолидно, а именно сегодня Локоткову предстояло быть и солидным, и недосягаемым, и даже

черствым - бюрократом...

Обгоняя их, не в ногу, подтягиваясь на ходу к большаку, ведущему на Развилье, прошли два взвода с автоматами, протрусила, екая селезенкой, знаменитая партизанская Роза, проволокла "тачанку-растачанку" с пулеметами и санинструктором Саней, та помахала рукой:

- Счастливо оставаться!

Инга беспокойно искала глазами. "Александра ищет", - подумал Локотков и вдруг с болью, словно он был не чекистом Локотковым, а Лазаревым, представил себе, как Саша лежит сейчас один в пустой избе, откуда ребята ушли в бой, как смотрит в потолок и какими словами поносит перестраховщика, сухаря, заразу и зануду Локоткова, который и горя-то не видел, и фашизма на зуб не пробовал, а схватил за горло и душит, не дает продохнуть. "С его позиции правильно, - рассуждал Иван Егорович, - совершенно правильно, но только дальше авось раскумекает".

- Ты куда это шествуешь? - спросил он, вновь заметив Ингу возле своего плеча.

- Так, - ответила она, - просто иду. А что, разве идти нельзя?

- Значит, таким путем, - круто остановившись, сказал Локотков. -

Слушаешь?

- Слушаю.

- Пройдешься сейчас с Лазаревым. Это тебе задание, как чекистке. И чтобы никаких этих настроений у него не было.

- Каких таких этих настроений? - неприязненно спросила Инга. - Если человеку оружие не доверяют, он кто? Кто в нем подразумевается?

- А это вопрос, который я через час ему объясню. Но только он должен знать по твоему отношению, что мы ему доверяем. И ты это пойми.

- "Молчи, скрывайся и таи", - зло начала она, но он перебил ее тем голосом кинобюрократа, который недавно в себе обнаружил. Он произнес:

- У нас служебный разговор, товарищ Шанина, а не шуточный. Выполняйте!

- Слушаюсь! - удивленно, словно не узнавая Локоткова, произнесла Инга и повернула обратно.

Минут через сорок они заявили оба вместе. Лазарев заметно повеселел, но все-таки был более чем сдержан, Инга же, осведомившись, может ли быть свободной, покинула землянку. Именно покинула, так вздернула она голову и так раздула крохотные ноздри своего курного носа, когда Локотков своим новым голосом разрешил ей уйти.

- Ну так как? - спросил Иван Егорович Лазарева. - Обижаться будем, Саша?

Бывший лейтенант промолчал.

- Я тебя в бой не пущу, - сказал Иван Егорович, - и не потому, что тебе не доверяю. Ты мне тут нужен - живой и здоровый.

Лазарев внимательно посмотрел на Локоткова.

- Ты мне должен подробную карту выполнить. Нанести на нее все твои разведданные. Это занятие трудоемкое. И сподвижников своих внимательно опросишь...

- Сподвижники мои, как нормальные бойцы, уже воюют...

- Помолчи. Воевать у нас пока что есть кому. А карту делать именно ты должен. И в живом виде.

Саша все смотрел. Он был чисто выбрит, и пахло от него каким-то знакомым запахом. Этот запах преследовал Ивана Егоровича до самого конца собеседования. Только провожая Сашу из землянки, Локотков вспомнил: склянка таких духов, "Ландыш" что ли, была у Инги.

А вечером бойцы затеяли концерт самодеятельности, который превратился в сольный концерт Лазарева. Локотков сидел рядом с комбригом - суровым и умным другом Ивана Егоровича, и они только переглядывались да подталкивали друг друга локтем. И не то чтобы такой уж замечательный голос был у Лазарева, нет, ничего особенного, а только рвали его песни душу, слышались в них и горькое горе, и такая отчаянная лихость и дерзость, и такая вдруг радость,

что бойцы, развалившиеся на росистом лугу, даже "ура" вдруг закричали, а один принес артисту коробку немецкого сгущенного молока, чтобы тот не надтрудил свое драгоценное "соловьиное" горло. "Бис" кричали бесконечное количество раз. Лазарев не кривлялся и не корчил из себя артиста, а когда уж очень уставал, вдруг рассказывал тихо и попросту, каков таков фашистский плен, и, рассказав, спрашивал погромче у тех, с кем вместе его хлебал:

- Ярошенко, правильно вспоминаю? Зубарев, так?

И из росистой, прохладной тьмы несло:

- Правильно! Спой "Плен"!

- Спою.

И пел:

Ах ты, плен, ты, плен,

Плен смертельный, злой...

Друг убит вчера,

Друг, товарищ мой...

Чуть открыв глаза,

Чуя смертный час,

Он тогда же мне

Отдал свой наказ...

- Политработник первого разряда, - сказал Ивану Егоровичу комбриг. -  
Хлопцев хоть сейчас в бой веди...

А Лазарев с посвистом выпевал уже концлагерные частушки:

Мне мила, как свет в окошке,

Мой дружок, моя картошка.

Было смешно и страшно, и Инга Шанина в накинутой на плечи шинели

смотрела не отрываясь в его бледное, слегка откинутае назад лицо, освещенное двумя трофейными немецкими лампами-бензинками, смотрела и не понимала, как мог человек, еще молодой, почти мальчик, выдержать все эти чудовищные испытания, выпавшие на его долю, и не сломиться, смотреть по-прежнему на мир дерзкими глазами юноши-школьника, петь, как запел он нынче, превратив всю бригаду в хор, который подпевал ему грозно и мощно:

Там, где леса, болота и равнины, -  
В жару и в стужу, в дождь или в туман -  
Неодолимо и неутомимо  
Растут вокруг отряды партизан...

Потом, поздней ночью, почти до утра, она ходила с ним в густом тумане или сидела на поваленном и окоренном для партизанской постройки бревне, глядела вверх на далекие звезды, которые словно плыли за туманом, и было ей странно, что Лазарев даже не притронулся к ее локтю, не то что лезть обниматься, было странно, что не рассказывал ничего из пережитого им, было странно, что обращался к ней не по-здешнему, церемонно, на "вы" и все только пел кусочки каких-то позабытых, старых песен, со словами, которые нынче не произносятся, да и не то что нынче, а и бабушки их, наверное, позабыли. Она сказала ему об этом, он устало улыбнулся:

- В лагере разные русские были. И не наши были...

- А какие?

- Которые не хотели против Советской власти воевать. Эмигрантские дети.

Отцы драпанули в восемнадцатом или в девятнадцатом, а эти так и мыкаются.

И запел негромко, словно петь ему было проще, чем разговаривать:

Беседы долгие без слов,  
Отзывный звук любви напрасной,

И тень июньских вечеров,  
И первый бред души неясной...

Она слушала, опустив голову, сжавшись под грубым сукном шинели, и просила спеть еще, потому что делалось страшно, что кончится эта ночь, такая непохожая на все военные ночи, что уйдет с рассветом этот дерзко-скромный человек, понятия не имеющий ни о Гейне, ни о симфонической музыке, ни о древнегреческой архитектуре, не читавший Эрнеста Хемингуэя, путающий Лескова с Чеховым, уйдет и не вернется никогда, оставив ее, сердитую Шанину, девушкой-вдовой, и будет она снова допрашивать языков, писать плохим пером на плохой бумаге и ждать дня победы только для того, чтобы опять заниматься на романском факультете, который с этих дней потерял для нее интерес.

- Уснули? - спросил он вдруг издали.

- Нет, что вы! - ответила она и не узнала своего голоса, словно не огрубел он за эти годы, словно опять дома, в Ленинграде, на Кирочной, вышла она из-за рояля в своей синей с белым комнате. - Нет, я не уснула...

- Пойдемте, простынете, - услышала Инга.

Она поднялась, чуть обиженная. Даже в школьные годы ей никто из ее тогдашних мальчиков не предлагал первым идти домой.

- Спать пора, - совсем сухо произнес Лазарев. - Провожу вас, да и сам лягу.

И добавил погодя:

- Не следует нам с вами прогуливаться. Мне автомата не доверяют, не то что...

- Не понимаю, - сказала она, - не понимаю, что вы имеете в виду.

- Многое, - ответил он уже жестко. - Пришьют невесть что. Думаете, не догадываюсь? Как в книжке прокаженный со звонком ходил: идет прокаженный.

Так и я - был в плену...

- Да вы что? - почти с отчаянием произнесла она. - Вы не должны так

думать. Так даже жить нельзя...

- А разве я думаю, будто можно? - горько ответил он...

И, быстро повернувшись, зашагал к себе в избу, не попрощавшись, не сказав доброго слова, словно и правда ему не верили.

А утром прилетел в бригаду подполковник Петушков, чтобы советовать и помогать Ивану Егоровичу в его повседневной, будней, военной, многотрудной работе, и его, повышенного за данное время в звании, на лесном аэродроме ожидал старший лейтенант, имевший крайне замкнутый и подтянутый вид. Встречал и комбриг, с которым Иван Егорович несколько отвел душу в ожидании самолета, потому что и комбриг недолго любил Петушкова, даже обмолвившись как-то про него, что есть некоторые, у которых на грош амуниции и на полтину амбиции.

Здесь для ясности всего хода нашего повествования непременно надлежит отметить, что время, о котором идет речь, было тяжелым не только в смысле жестокой и страшной войны с небывалым во всей истории человечества протяжением фронтов - от Баренцева до Черного моря, но еще и потому, что годы культа личности Сталина, с его подозрительностью к людям, породили особый и, к несчастью, распространенный характер службиста, словно бы не замечающего огромного и животворящего духовного подъема нашей воюющей страны, службиста оступелой души, такого, который даже в самом прекрасном и высоком подозревал лишь низменное и ничтожное, такое, которое следовало брать на подозрение, стращать и карать.

К этой породе подозрительных службистов относился и подполковник Петушков, стремительно возвышающийся в званиях. Красивенький, с вьющимися волосами и тонким овалом лица, на котором всегда алел здоровый и крепкий румянец хорошо питающегося и соблюдающего должный физический режим пресловутого гармонического человека, каким несомненно мнил себя недруг Ивана Егоровича и его, как говорится, полный антипод - Петушков.

Никто не знал, какая из бабок того лихой памяти начальства ворожила



Петушкову, перед кем он двери раскрывал в меру предупредительно и кому с солидностью, но и с проворством подавал спичку закурить. Не известно и по сей день, на какую из бабок смотрел он преданнейшим взглядом, в котором можно было прочесть, что он и жизнью не дорожит во имя обожаемой им бабоньки, но несомненно, что какая-то ворожила, и под локоток вела, и учила - ходи, дитятко, ножками, топай - топ-топ - смелее, взойдешь в сок и силу, дадим тебе большой ход, а пока что старайся поближе к фрицу, там бывай, где многотрудно, мы же тебе будем питательницы и никогда тебя не оставим...

Было это именно так, потому что не делу старался Петушков, а лишь себе, исключительно для себя с тем, чтобы это добытое им в партизанском краю добро красиво показать в столице бабушкам, пройтись перед ними окрепшими ножками и порадовать сообразительностью, ходкостью и даже осторожной храбростью, дабы представление к ордену, например, шло из партизанского штаба, а не от самих бабонек, как они тому, наверное, учили своего провористого внучонка.

Сам подполковник Петушков считал себя человеком образованным и рекомендовал "образовываться" даже партизанам, утверждая, что ежели человек захочет, то и здесь, в глухих, лесных условиях, найдет время "поработать над собой", так как время - фактор невозвратимый и молодость мозговых извилин никому еще не удавалось восстановить. Имея широкий круг интересов, Петушков игривал подгулявшим своим бабкам на щипковых инструментах и пел цыганские романсы, не без комизма вертя бедрами и плечами, знал кое-какие простецкие куплеты с забористыми словами и однажды по рассеянности появился даже в лесной край с плоеными волосами, пшенично-золотистый цвет которых особо выигрывал, когда дамский мастер плоил их специальными щипцами. Были злые языки, которые перешептывались, что эта пloidка не малую роль сыграла в истории возвышения Петушкова, ибо он был отмечен спутницей жизни одной из бабок именно благодаря этим мягким и шелковистым кудрям. Впрочем, чего только не врут злые языки на удачливых своих сотоварищях; наверное, из зависти, потому что ведь никто не спорит по поводу, например, начитанности

Петушкова или того, что он часто имел по некоторым вопросам свое особое мнение. Так, Петушков не раз говаривал, что гремевшее в ту пору стихотворение Симонова "Жди меня" или нежно любимое воевавшими людьми сурковское "А до смерти четыре шага" его лично, подполковника Петушкова, никак не устраивают и устроить не могут.

- Симонов ударился в мистику, - с усталой улыбкой на красивых и полных губах утверждал подполковник, - ведь это, товарищи, не стихи, а колдовство, заклинание. Нет, не наше это, не наше. Я и Косте это сам говорил, сказал ему, что не те струны он задевает, не те. И Алеше говорил - пораженчество это, и ничто иное, ты уж меня прости, я тебе попросту, по-солдатски. Но разве они, писатели эти пресловутые, поверят солдатскому слову? У них круговая порука, за доброго дружка не пожалеют и сладкого пирожка. И не стесняются, так и печатают; например, "Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины" посвящается А.А.Суркову. Какая уж критика в таких условиях, даже смешно...

Композитора Шостаковича подполковник Петушков некоторым образом признал за его знаменитую Ленинградскую симфонию, но, однако же, с оговорками, что-де Митя, разумеется, сделал шаг вперед, но формализм, конечно, не изжил и вряд ли изживет, потому что вышеупомянутый Шостакович все-таки "не наш".

- Нет, не наш он, - со вздохом говаривал Петушков, - и словами, дорогие товарищи, тут ничего не объяснишь. Чувствовать надо.

Очень многих знаменитых людей он называл по именам, утверждая, что они лично ему читают свои произведения и исполняют сочиненную ими музыку. Некоторые этим рассказам Петушкова верили, другие не совсем, третьи улыбались, разумеется отворотятся. Любил Петушков и баечку-сказочку ввернуть, которую и не проверить, и опять-таки находились такие, которые верили, но случались и Локотковы - эти совсем не верили и даже не считали нужным выразить какое-либо одобрение или восхищение ловкостью начальства.

Иногда Петушков читал оперативникам продолжительные нотации, отмечая их промахи и ошибки. Случалось, и похваливал. Но получалось как-то странно:

хвалил он за нестоящие пустяки, а бранил за настоящую работу.

- Разбирается! - с легкой иронией говорили про него некоторые подчиненные.

Бывали и такие, что возражали. Этих Петушков выслушивал, изобразив на лице саркастическое выражение и слегка приподняв одну бровь, как любил делывать один известный ему чин. Только лишь выслушивал. Но во время выслушивания было заметно, что Петушков не слушает.

Большинство же помалкивало. Возражать Петушкову по причине его близости к начальству и злопамятности не всякий решался. Многие понимали, что суждена красивенькому товарищу Петушкову большая и широкая дорога, в которую он может и с собой прихватить, и оставить, и просто плечом на обочину спихнуть, да так, что и не выберешься из придорожной канавы.

С Иваном Егоровичем у Петушкова при первом же знакомстве сложились, что называется, нездоровые отношения. Произошло это потому, что Локотков к инструктажу деятеля, понятия не имеющего о партизанской жизни, отнесся холодно и нисколько не угодливо и советы его, данные в форме лаконических приказов, не только не выполнил, но даже как-то совсем непочтительно улыбнулся. Советы и впрямь были не ахти, но улыбаться Локоткову, конечно, не следовало, особенно после случая с тем старостой, которого он чуть не упустил, чем, по словам Петушкова, "едва" не подверг полному разгрому своих партизан.

- На войне "едва" не считается, - возразил Иван Егорович.

Второе сражение у них было по поводу уже упомянутого нами уворованного доктора Павла Петровича Знаменского, с которым Петушков возжелал ознакомиться лично и который Петушкову не понравился тем, что в беседе он был "неспокоен", а главное, своими дворянскими анкетными данными. Дед Павла Петровича был царским генералом, отец царским штабс-капитаном, а дядя с материнской стороны проживал "за рубежом" с девятьсот девятого года. Все это навело Петушкова на некоторые размышления, проанализировав которые, товарищ

Петушков пришел к выводу, что доктор Знаменский заслан в бригаду фашистской разведкой.

- Вот это да! - удивился Локотков.

- Что да?

- Сильно!

- Я вас не понимаю, товарищ старший лейтенант.

- Что же тут не понимать? Я весь здесь!

- Мне непонятен ваш тон!

- А разве есть у меня какой-нибудь тон? Верно, был дед генерал, так его немцы аж в четырнадцатом году убили. Был папаша штабс-капитан, артиллерист, тоже немцы в семнадцатом убили. А мамаша итальянского происхождения - итальянка, и брат ее, как в девятьсот девятом году в Италии родился меньшим в семействе, так, естественно, там и проживает.

Петушков попытался съязвить:

- Вы все так обо всех на память знаете?

- Нет, не все, - спокойно ответил Локотков. - Но многое знаю.

- И Знаменскому доверяете?

- Как себе.

- В наше время, когда родному отцу... - взвился было Петушков, но Иван Егорович не дал ему досказать. Посерев лицом, он шагнул к начальству и сказал так, что Петушков даже вжался спиной в сырую стену землянки:

- Вы моего батю не цепляйте, товарищ майор, убедительно попрошу. И вообще муть эту, насчет...

Не договорив, он вышел и долго не возвращался, охлаждая себя в сырости осеннего бора и стараясь не думать те злые думы, которые против воли возникали в нем, когда его, свидетеля и участника поразительных человеческих подвигов, принуждали думать о людях низко и дурно.

Но все эти мелкие и даже сравнительно крупные стычки и сраженьица вполне можно было считать за цветочки. Ягодки поспели попозже, совсем

незадолго до появления в бригаде Саши Лазарева с приведенным им "войском".

Тут случились такие обстоятельства, что в отсутствие Ивана Егоровича, но в присутствии тогда еще майора Петушкова на бригаду и, как нарочно, на самого Петушкова с его приезжими спутниками вышли сдаваться четверо хорошо вооруженных красноармейцев, попавших в свое время в немецкий плен. Вышли они с листовками-пропусками, чин-чинарем, да и кое-какие довольно существенные разведданные тоже припасли. Сам Петушков вызвался их оформлять, а когда Иван Егорович вернулся из своей нелегкой рекогносцировки, сделалось так, что пришедшие с пропусками только "после длительного сопротивления были разоружены и сдались".

- Ишь ты! - удивился Локотков, выслушав от своего подчиненного Кукушкина повествование о событии. - И ты там был?

Кукушкин там, разумеется, не был.

- А кто ж был?

Были исключительно приезжие.

- Молодцы какие ребята, - сказал про них Локотков Кукушкину. - Это надо же с пистолетиками против автоматов. И гранаты у тех были?

- Обязательно были, - сказал Кукушкин. - По две на рыло.

Приезжие версию своего шефа не подтвердили. Петушков их даже в нее не посвятил. И тут Иван Егорович внезапно пришел в ярость. С ним это случалось редко, так редко, что он даже не понимал, что это с ним делается, когда метался он в черном, тихом, мокром лесу, постанывал и кряхтел не от физической боли, а от нравственных невыносимых страданий. Мы уже писали, что "во время испуга" Иван Егорович нисколько даже не менялся в своем поведении. Но во время испытываемых им нравственных мучений, во время того, что именуется муками совести, Локотков никогда совладать с собой не мог. Он даже ругался матерно, чего терпеть не мог, даже всхлипывал и все ходил в черноте осенней партизанской ночи, пока совершенно не утерял силы и не повалился кулем на гниющий ствол старой березы, на которой и измок до нитки под

глухим, ровным дождем, ничего не слыша и не чувствуя, а только страдая душой, "переживая", как он сам аттестовал это свое состояние впоследствии.

Какие-то зверюшки фыркали в сырой ночной тьме, должно быть, не поделили меж собою харчишки, мертвые деревья странно светились молочным светом, Локотков все вздыхал и думал, у него ведь жена была и сыновья подрастали, куда как непросто насмерть схватиться с таким, как майор, а все ж, вздыхая, решил схватиться, опять-таки исходя из размышлений о том, что войне полезно, а что и вредно.

Поутру он сказал Петушкову:

- Тут без пол-литра не разберешься. Какое может быть оказано сопротивление, когда у них и пропуска и разведданные. Я проверил - все точно. Очень даже похоже на ту историю, что я вам докладывал, в районе Вологды случай имел место.

Произнеся все это, он подождал взрыва начальственного гнева, но Петушков молчал. И не известно было, о чем говорить дальше.

После большой и довольно неловкой паузы Локотков осведомился:

- Так как же быть-то?

И опять ответа не последовало. Подполковник лишь загадочно глядел на Ивана Егоровича. Загадочно и безгневно. И увидев этот многообещающий и даже ласковый взгляд, распознав вдруг его смысл, Локотков окончательно понял, в какую ужасающую нравственную бездну тянет его подполковник. Личный подвиг - вот что нужно было этому красавчику.

- К вопросу о доверии, - сипловато произнес Петушков. - Им вы верите, а мне не верите?

- К вопросу о доверии, - ответил Иван Егорович. - Я привык проверять. Если они сами пришли - одна вина, вам известно это не хуже, чем мне. А если их взяли силой - другая, совсем другая и наказание большое, это вам тоже известно. Что же касается несправедливости, то я ее никак не могу допустить, потому что пропуска кидает моя Советская власть, и я за ее обещания несу

ответственность, будучи коммунистом.

- А я кто? - крикнул Петушков.

- Не знаю, - слегка помедлив, ответил Иван Егорович и вышел, сжегши за собой мосты и оставив Петушкова в бешенстве и томлении духа.

"Еще спрашивает, кто он! - со злобой думал Иван Егорович. - Еще ответа требует! Нормальный трус - вот кто он, так и надо было ему сказать, трус, дескать, ты, подполковник, и никто больше!"

Каково же было его изумление, когда увидел он не более как через час после этой самой беседы подполковника во время налета на Дворищи штурмовой авиации немцев, решивших в этот день покончить с партизанским гнездом и загнать остатки бригады обратно в болотный лагерь. Штурмовики шли волнами и делали решительно что хотели: и бомбы кидали - те, что повыше, и пулеметами обстреливали - те, что шли бредущим, и из пушек били. А подполковник Петушков стоял перед избой, пылающей багровым, лютым пламенем, и со спокойным любопытством глядел на уничтожение Дворищ, нисколько, видимо, не опасаясь за свою жизнь. В руке у него был зачем-то пистолет, но он про него, наверное, позабыл. Красивое лицо его даже не посерело в этом кромешном аду, волосы лежали ровными волнами, взор выражал лишь любопытство и более ничего. А когда двумя часами позже каратели двинулись на Дворищи, чтобы ликвидировать, как они думали, остатки бригады, тот же ненавистный Локоткову Петушков, разжившись снайперской винтовкой, занял себе позицию на старой густолистой липе и оттуда расчетливо, не торопясь, хладнокровно и умело поклевывал фрицев, едва кто высунется, а к надлежащему времени слез на выжженную боем землю и побежал вместе с партизанами Евтюшко кончать опрокинутых карателей. Здесь, в осиннике, заметил Иван Егорович лицо своего недруга и запечатлел его надолго, словно сфотографировал выражение спокойного, злобного азарта и закушенную губу.

К ночи, когда все совсем стихло, даже пожары догорели и лишь смрадный дым напоминал о тяжком дне, они оба столкнулись возле кухни. "И зачем тебе

жить бабкиным внуком? - подумал Иван Егорович. - Ведь человек бы мог из тебя произойти?" Но человек, конечно, из Петушкова не получался. И здесь, где не так и не такой поднесли ему борщ, заорал он на повара, и здесь дал понять, с кем они имеют дело, и здесь потребовал немедленного и строгого наказания виновных...

С тяжелым чувством душевной сумятицы Иван Егорович сел покурить возле колодца, у которого умывались еще недавно вышедшие из боя партизаны. Тут услышал он разговор о Саше Лазареве, который, вооружившись трехлинейной винтовкой, ввязался-таки в бой и теперь располагал уже двумя немецкими автоматами и несчетным количеством дисков, которые все перепрыгивал в темноте, видимо не надеясь на регулярное снабжение в будущем.

- Как та собака костку перепрыгивает, - со смешком услышал Локотков густой голос пулеметчика Хозрякова. - Заметит, что видим, другую яму копает.

Другой, незнакомый голос отозвался:

- Он еще гранат себе набрал - будь здоров, не кашляй. В грибной корзине таскал.

Попозже Иван Егорович провел краткое расследование. Саша во всем повинился, а про гранаты сказал, что да, было такое дело, имеется теперь резерв, лично ему принадлежащий, и что делиться ни с кем он не намерен, потому что немецкую фуру с боезапасом нашел он, а не кто другой, и тайник покажет только в случае решительного приказа товарища Локоткова.

Ивану Егоровичу стало смешно, а Лазарев, и в темноте разобравшись в выражении лица Локоткова, испросил разрешения быть свободным, и тотчас же в горьком, дымном, душном воздухе Иван Егорович услышал его пение:

Не гулял с кистенем я в дремучем лесу,  
Не лежал я во рву в непроглядную ночь, -  
Я свой век загубил за девицу-красу,  
За девицу-красу, за дворянскую дочь...



Уже совсем ночью, направляясь к землянке, в которой содержались давеча перешедшие от немцев четыре солдата, Иван Егорович увидел Ингу. Измученная работой, она маялась во тьме возле партизанского госпиталя, курила козью ножку на крыльце и переговаривалась с таким же измученным Знаменским.

- Отдыхаете? - осведомился Локотков.

- Святу месту не быть пусту, - ответил гудящим басом доктор. - Еще утром радовались: опустели наши так называемые палаты. А сейчас только пошабашили. Посиди с нами, Иван Егорович.

- Я-то не пошабашил, - ответил Локотков.

Инга пошла его проводить. Когда случалась надобность, она работала при Знаменском медицинской сестрой и делала свою долю труда так ловко и старательно, что партизанский доктор не раз сердито советовал ей бросать романский факультет и идти на медицинский. Она не отвечала.

- Почему молчишь? - спросил Иван Егорович погодя. - Ведь знаю, для чего пошла.

- Нельзя ему больше не доверять! - твердо сказала Инга. - Вы ведь не знаете, как он нынче воевал. О нем только и говорят...

- А почему ты думаешь, что я ему не доверяю? - вдруг грустно и устало произнес Локотков. - Почему в твою голову не может прийти, что я ему как раз настолько доверяю, что именно потому и не даю разрешения в бой лезть? Ты же чекистка, неужто сообразить сама не можешь?

Разумеется, этого не следовало говорить, но усталость от сегодняшнего дня взяла свое. Да и доверял он Инге, понимал, что, несмотря на трудный ее характер, лишнего она не скажет. Не проболтается никому, никогда...

- Но он-то этого не знает?

- Пока не знает. И надеюсь, от тебя не узнает. А со временем поймет.

Инга остановилась и сжала горячими пальцами запястье Локоткова.

- Иван Егорович, скажите ему хоть слово. Намекните. Он на смерть лезет,

на рожон. Его случайно сегодня не убили, совершенно случайно.

- Ладно, - ответил он голосом того киносекретаря. - Продумаю вопрос. Не враз Москва строилась...

Инга еще что-то хотела сказать, но он не стал слушать, ушел. Всю ночь побеседовал Иван Егорович в душной землянке порознь со всей четверкой. Были это ребята, разумеется, далеко не такие, за которых можно душу отдать, но правда есть правда и закон есть закон, конец войны еще и не виделся за серыми тучами и смрадными пожарищами, за бомбежками и артобстрелами, все четверо на немцев были злы до остервенелости, нагляделись и нахлебались лиха предельно и, разумеется, могли еще крепко повоевать, может и не до полного искупления своей тягчайшей вины, но с пользой, военным операциям, проводимым бригадой, еще и учитывая то обстоятельство, что вся четверка основательно знала и немецкие военные ухватки, и здешние гарнизоны, и многое другое небесполезное в ведении войны. Короче говоря, этапировать их в тыл для суда над ними и последующего тюремного заключения было бы без пользы для дела, и именно это и следовало из документа, который, измученный идиотской этой передрагой, в конце концов и составил Иван Егорович.

Крепко выспавшись, хоть сон и был коротким, Иван Егорович зашагал к комбригу, который срочно вызвал его по неотложному делу. Погорев во время налета, комбриг вновь спустился с высот своего мезонина в прохладную землянку, в которой Локотков предполагал встретиться со своим недругом Петушковым, но вдруг оказался перед лицом человека, которого сразу и не узнал от неожиданности, а когда разглядел, то даже охнул и, нарушая всякую субординацию, сдавил старика такими железными объятиями, что комбриг предупредил:

- Осторожнее бы, товарищ Локотков!

- Вы полегче, - чуть картавя и тенорком сказал неожиданный гость, - я в годах и не так чтобы очень здоров...

- Это ж с ума надо сойти, - сказал Локотков. - Мы ж вас давно

захоронили, товарищ Ряхичев...

- Большевистский бог небось тоже есть, - со своей особой, совершенно не изменившейся улыбкой ответил Виктор Аркадьевич, - видите, жив и даже более или менее здоров, настолько, что признан годным к несению военной службы.

Полковника получил...

И с милой гордостью он пошевелил узким плечом.

- Кто же вы теперь?

- А кем же мне быть, как не чекистом?

- После всего?

- После чего всего? - насторожился Ряхичев. - Или вы верили?

Глаза их встретились - режущий, сильный и острый взгляд Виктора Аркадьевича и смущенный Локоткова.

- Впрочем, были моменты, когда мне и самому казалось, что я враг Советской власти, - без улыбки, серьезно промолвил Ряхичев. - Убедительный у меня был следователь.

- Наговорили на себя?

- Нисколько даже. На досуге сомневался. И только чувство юмора спасло.

Впрочем, об этом мы, Ваня, успеем. Побеседуем на досуге. История, которую не прочитаешь в "Мире приключений". Ничего не слышал?

- Где же нам в лесу слышать?

- Пню молитесь? Ладно, товарищ Локотков, не прибедняйтесь. Я тут уже беседовал с вашим комбригом, он высокого мнения о вашей деятельности...

- А с Петушковым вы еще не беседовали? - осведомился Иван Егорович с невеселой усмешкой. - Он вам не докладывал?

- Сбивчиво докладывал. Недоразумение какое-то разъяснял. Чего-то он недопонял, ошибку допустил.

Иван Егорович вынул из кармана свою докладную и протянул ее Ряхичеву.

- Может, выйдем? - спросил он. - Посидим на кислороде, а то тут и темно, и душно.

Вышли, сели на поваленный ствол сосны. Виктор Аркадьевич оседлал крупный нос старыми очками, видимо уже отработавшими свой срок; читал Ряхичев на "всю руку" - держал бумагу от себя далеко. Локотков к нему присматривался: очень изменился бывший его учитель или не очень? Решил, что постарел, но не слишком, войну вполне сдюжит, такие сухие телом старики лет до семидесяти вполне при полной нагрузке могут действовать.

- Так! - сказал он, дочитав. - Понятно мне, что осознал Петушков свою ошибку. Моя биография ему до некоторой степени известна, и понимает он, что у меня пройти может, а что и не может. Закурите, Ваня, папиросу!

И Ряхичев раскрыл перед Локотковым нарядную коробку "Герцеговины флор".

- Сталин их курит! - почтительно сказал Иван Егорович.

- А я не знаю, что Сталин курит, - со странным выражением ответил полковник. - Никакого даже понятия не имею.

Некоторое время они молча покурили. Восточнее Дворищ, там, откуда вчера пришли каратели, затрещали автоматы. Локотков прислушался. Потом все смолкло. Пробежал кучерявый партизан, крикнул восторженно:

- Хлопцы, давайте ходом! Шебалковские дураки вместо фрицев лося убили, свежую...

Ряхичев тихо улыбался.

- Часто такое?

- Случается.

- Особая у вас жизнь, ни на что не похожая. И разговоры, послушаешь, как у Майн-Рида. Например, "доживем до черной тропы". Это как понять?

- Означает: после осени зима, а там весна - черная тропа, - нравоучительно пояснил Локотков и смутился, что так разговаривает со своим учителем. - Вы разве впервой у партизан?

- Первый раз, - ответил Ряхичев, - для меня ведь война по-особому сложилась...

В молодом березнячке, за землянкой комбрига, молодые голоса жалостно

пели:

Ты ж моя, ты ж моя

Перепелочка...

- Глухомань! - передернув узкими плечами, произнес Виктор Аркадьевич.

- Сейчас что, сейчас цивилизация, - похвастался Локотков, - а вот раньше бы посмотрели, в сорок втором. Именно медвежий лагерь был.

- Это в каком же смысле?

- А в самом наипрямом. Первую свою базу выбрали мы по медвежьим следам, это точно так и было. Знают охотники, что медведь отроет себе берлогу в чащобе, чем глуше - тем ему лучше. Его не обманешь, медведя. Вот на берлогу и сориентировались. Так и называлась база - медвежья. Что касается до нынешней жизни, то теперь и самолеты к нам ходят, и связь у нас с Большой землей регулярная, и народищу - к трем тысячам приближаемся, и кроме главной базы еще три лагеря. Теперь немцу хуже. Он коммуникациями силен, так ведь и мы не спим. По существу, вся Псковщина под нами, его только ниточки, как на карте дороги, да города с гарнизонами. И не известно еще, кто кого гоняет: он нас или мы его. Бывает, Виктор Аркадьевич, что он от нас вроде бы в крепости сидит, а мы осаждающие. Бывает, как вчера, сунется большими силами, ну а мы теперь поднаучились, его и зажали в клещи. Не он нас в результате, а мы его.

- Почему такая внезапность? У вас тут никто не сидит из его агентуры?

Из бежавших военнопленных, из...

- Много, - ответил Локотков, - не один, не два, не три. Искупают, и даже неплохо искупают, Виктор Аркадьевич...

- Не увлекаешься?

- Это не подполковник ли Петушков вам сигнализировал насчет моих увлечений?

Ряхичев промолчал.

- Думал, еще не виделись, - сказал Локотков, - но только наш пострел везде поспел. И зачем он все с черного хода толкается, мог бы и через парадное.

- А мог бы?

- Видел его вчера в бою. Верите ли, Виктор Аркадьевич, залюбовался. А у нас война не легкая.

- Бывает, - с коротким вздохом произнес полковник. - Я такие случаи не раз видел. В бою - орел, даже и помощнее, а встанет перед начальством или вообще в трудные обстоятельства попадет - и не то что орел, а даже и не курица. Бывает, к сожалению, чаще, чем мы думаем. Мне приходилось воочию с такими орлами-курами встречаться, один эдакий меня и посадил...

- Я же совершенно ничего не знаю, - сказал Локотков. - Исчезли вы тогда, и все. Было нам, курсантам, сказано: разоблачен как враг народа...

- Точно, разоблачили, - с невеселой улыбкой ответил полковник, - состряпали дельце, погоняли по камерам, все номера запомнил на всю жизнь.

И, не торопясь, раздумывая, глядя вдаль, в туманчик, Ряхичев рассказал о своей жизни в эти годы. После ареста, следствия и того, что он назвал "комедией суда", его отправили отбывать заключение, а когда в начале войны заключенных лагеря этапировали на восток, Виктору Аркадьевичу чудом удалось бежать. Кое-какие липовые документишки ему сварганили, с этими справочками и отправился он в военкомат.

- В качестве кого? - спросил Локотков.

- Красноармейца, - спокойно ответил Ряхичев. - Ну, а дальше пошло в соответствии с нехитрыми законами войны. Человек я смекалистый, огня в гражданскую еще похлебал, на нервы никогда не жаловался, произвели в старшины, дали первый орден, и стали мои ребята называть меня папашей... Хворостова, кстати, не помните?

- Сергея? А жив он?

- Живой-здоровый. Так вот, вышли мы в Карелии из боя, в сорок втором было, в марте, все тогда высотки брали, ну и мы как раз взяли. Хоть и холодно было, но сильно запарились, кто живым остался. Переобучаюсь в немецком окопе, чуть не на голову мне Хворостов. Капитан, веселый, выбритый, он всегда щеголем был, Сергей-то. Я, разумеется, отворотился, но он меня опознал. "Неужели?" - спрашивает. Ну что мне отвечать? Я, дескать, не я? Куда денешься? Все ему и рассказал, попросил только: не лишайте возможности воевать. Он меня в контрразведку. Все докладывает своему начальству, а у самого слезы из глаз - горохом. Вообще, чувствительная произошла сцена. Рассказал мою биографию: он-де из числа ветеранов-чекистов, его Дзержинский хорошо знал по делу Поля Дюкса (помните, я вам докладывал на занятиях?), вспомнил приключения мои с Борисом Савинковым, Лациса вспомнил и все такое прочее. Чтобы антимонию не разводять, оставили меня при контрразведке. Языки-то я знаю, немецкий получше других. Вначале переводчиком. Народ у них подобрался стоящий, культурный, интересно работали, с выдумкой, с горячностью. Ну и начальник - мужик бесстрашный. Поверил мне абсолютно, доложил командующему все как есть, тот меня к себе пригласил...

Сухое лицо Ряхичева на мгновение исказилось, но он взял себя в руки, заговорил совсем короткими фразами, твердо, жестко:

- Командующий, оказывается, того же лиха, что и я, хлебал в ту же пору. Спросил меня, что я, как чекист, думаю. Я ответил: работа зарубежных специальных органов по истреблению наших кадров. Я и сейчас так думаю. Мы же их сведениям, на их радость, поверили. А своим людям в доверии отказали. На том и теперь стою. Пойдем отсюда, Ваня, что-то холодно, мерзнут старые кости!

Он поднялся - сухой, стройный, высокий, с серебристыми висками, поежился, потом вздохнул:

- А жена у меня умерла. Теперь один на свете. И, знаете, странно как: думаю, отвоюемся, пойдет народ по домам, а где мой дом?

- Ко мне приедете, - сказал Локотков, - создадим вам условия.

День выдался не по-летнему холодный, даже мозглый. И запах пожарища не унимался, в сырости стал еще острее, горше. Но партизаны спозаранку повезли лес, строиться: баньку, кухню получше, избу девчатам-партизанкам. И опять услышал Иван Егорович голос Саши Лазарева:

Вы скажите там матери милой,  
Вы скажите жене молодой,  
Что я жертвовал жизнью и силой  
В честь отчизны своей дорогой.  
У меня от начальства отметки,  
Что со страхом я не был знаком,  
Что врагов я колол пулей меткой,  
Еще больше колол их штыком...

Ряхичев слушал улыбаясь, потом спросил:

- Кто певун?

- Лазарев. Я вам про него доложу в подробностях...

В землянке комбриг напоил их чаем с вонючим трофейным ромом. Виктор Аркадьевич выслушал историю Лазарева, потом замыслил Ивана Егоровича насчет разведывательно-диверсионной школы в Печках. Комбриг ушел провожать группу подрывников, разбираться в том, кто "сундучит" аммонит. Начинались дни знаменитой впоследствии "рельсовой войны".

- Откуда такие подробные сведения? - даже удивился Ряхичев.

- У меня туда свои люди посланы. В Печках толковый человек - у него и с курсантами знакомства, и с преподавателями. В Ассари, возле Риги, наборщик, литературу для немцев набирает, бланки для "Цеппелина", замечательный человек, только на язык невожат. Так разрешите продолжать?

Ряхичев кивнул, вновь закуривая:



- У них как дело поставлено? Вот, допустим, днем... такой есть у них педагог - Штримутка, так этот Штримутка скажет какому-нибудь курсанту наедине провокацию, допустим: "Наши дела идут на фронтах плохо". А ночью курсанта будят ударом нагайки по лицу. "Что тебе сказал Штримутка?" Курсант: "Ничего". Его опять нагайкой, сапогом под ребро, палкой, чем придется. Это они волю испытывают. Так вот мой парень в Печках о многом наслышан, и практика подтверждает, что они тренируют только физически. О моральной стороне дела не беспокоятся. У них главное - легенду назубок знать, а практика моя подтверждает, что на выученной легенде далеко не уедешь. Если человек честный, он даже в правде на допросе нервничает, сбивается, а эти - как таблицу умножения. Все точно из кирпичиков выстроено, только если один кирпич вышибешь, постройка и рухнет. И никакого воображения у них нет, это точно, Виктор Аркадьевич, извините за такое слово - воображение, но иначе не скажешь. Как часы штампуют, так свою агентуру. Стандарт! И еще не понимают, что если наш человек в их так называемом тылу работает, то ему сочувствуют в сто раз больше людей, чем тамошних немцев, а если их агент у нас, то все против него. Их ловить и изобличать нетрудно, если по-умному, а наших им очень трудно, если опять-таки наши по-умному действуют...

Он свернул своего табаку, сильно затянулся, потом сказал:

- Разведчик должен быть прежде всего человеком одаренным и инициативным, так я считаю. Это не аппарат фотографический, это голова с умом. Вот потому Лазарев для меня кандидатура подходящая. Он сам думает, а не только исполняет, чего велено. Вот глядите, карту он для меня вычертил, здесь уже. Это, конечно, я ему такое задание измыслил тут, чтобы в бой его не пускать, да не углядел, вчера показал он свои данные, а карта с мыслью сделана, даже с талантливой мыслью...

Вытащив из планшетки Сашино не законченное еще произведение, он разложил его перед полковником.

- Ладно, давайте сюда вашего Лазарева, - решил Виктор Аркадьевич. -

Побеседуем, посмотрим. Вы так рассказали, что мне даже интересно стало, какой это такой мировой разведчик...

Лазарев явился тотчас же, выбритый, в начищенных чем-то чрезвычайно едким и вонючим сапогах, в немецкой пилотке, лихо посаженной на голову. Козырнул небрежно, обдал старого чекиста дерзким взглядом, сел чуть-чуть вольнее, чем ему бы следовало. Локотков следил за ним тревожным взглядом, как бы уговаривая: "Не куражься, дурак. Жизнь твоя решается, слышишь?"

Во всем остальном разговор пошел как надо. Лазаревские разведданные появились на столе во всем своем четком великолепии. Отвечал бывший младший лейтенант на вопросы сдержанно, ни в чем не запутался, дерзкое выражение глаз сменилось восторженным: Ряхичев и не таких зеленых умел покорять силой своей воли, веселыми огоньками в зрачках, внезапными смешными фразами, вдруг ласковой, доверительной интонацией.

- Так как? - осведомился Локотков, когда Лазарев ушел.

- Можно! - поднимаясь с лавки, ответил Ряхичев. - Вполне можно.

- Вы серьезно?

- В таких делах не шутят.

- А если...

- По всей строгости законов военного времени, - с медленной усмешкой произнес Виктор Аркадьевич. - Если предаст, будем отвечать вдвоем. Согласны?

Собеседование они не закончили, за Локотковым прибежал парень с красивой фамилией Златоустов: возле Больших Камней задержаны трое, что за люди, понять нельзя, документы вроде и настоящие, но вводят в сомнение. Похоже, что трое ждут еще кого-то; вообще, Птуха наказывал передать, что без товарища Локоткова ни за что поручиться не может.

- Ладно, идите, - сказал Ряхичев, - а с задержанными я побеседую пока что. У вас мнение положительное?

- Надеюсь, искупят, - довольно сердито ответил Иван Егорович. - А нет - застрелим, у нас ребята такие, разбираются. Верно говорю, Златоустов?

- Стараемся, - сдержанно ответил Златоустов.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

Бородатый Птуха соскучился ждать на хуторе Большие Камни и очень обрадовался тому, что прибыл сам Иван Егорович. Часам к двум дождливого, хмурого и ветреного дня Локотков уже беседовал с неким солдатом, по фамилии Ионов, и с двумя кротчайшего вида мужичками. Документы незнакомцев Иван Егорович разложил перед собой на просаленной хуторянами в довоенное время столешнице единственного уцелевшего во всей постройке, хоть и обгорелого, стола. Ни стекол тут не было, ни дверей, ни живых хозяйских душ, разумеется. И въедливо пахло жирной сажей, еще с октября прошлого года, когда, вышибленные партизанами, уходили отсюда фрицы.

- Поджидаете еще кого, господин Ионов? - зевая, спросил Локотков.

- Кого же нам поджидать? - угрюмо осведомился солдат.

- Мало ли...

- Мы к вам пришли, чтобы в ваших рядах...

- Для чего же костры на лужку разложили? В избе вот и печка не разрушена, могли вполне кушанье согреть на загнетке. Почему не устроились так, а враз несколько костров разложили?

- Согревались.

- Каждый у своего костра? Да и ночь-то была теплая.

И красноармейская книжка, и паспорта, и удостоверение - все было художественно исполнено типолитографией "Цеппелина", это Локотков по известным ему признакам распознал сразу и беседовал лишь для того, чтобы отдохнуть после утомительной ходьбы по топам и болотам.

Все трое схваченных были ребята сытые, упитанные, видать, в шпике и

яйках с молоком себе не отказывали, при них локотковцы нашли денег семьдесят с лишком тысяч, наган и два коровинских пистолета. Наверное, было еще кое-что интересное, но для этого надо было кропотливо вспарывать одежду, сапоги, трясти исподнее, а Иван Егорович устал, сердился и лениво поигрывал с человеком, который выдавал себя за красноармейца по фамилии Ионов. Фотография в красноармейской книжке была исполнена на немецкой фотобумаге. Локотков давно знал, что немцы сулят "золотые горы и реки, полные вина" тому, кто им доставит русскую фотобумагу, и, кроме того, Ионов сфотографировали с прической, а не стриженного, что тоже было характерной для фрицев ошибкой. И паспорта имели в себе постоянную и педантическую немецкую ошибку, ошибку, из-за которой фашисты потеряли сотни своих дорогостоящих агентов. Разглядывая документы, Иван Егорович улыбался, вспоминая почему-то знаменитое толстовское из "Войны и мира": "Айне колонне марширен".

Когда выходили из избы, Ионов пошел первым. Ноги его держали поначалу плохо, но потом он расшагался и шел не оглядываясь, только головой покручивал по сторонам, но вдруг, сообразив, что терять ему нечего и ожидает его лишь расстрел, извернувшись, сиганул в сторону, в густой лесок, и запетлял, словно слыша за спиной, как поднимается рука Локоткова с тяжелым трофейным пистолетом.

Мужички обмерли, когда увидели, как с ходу ткнулся лицом в желтый мох их начальник, господин Ионов. Иван Егорович выстрелил только раз, хлопцы автоматов и не подняли, они могли ошибиться и убить вражину, а Локотков стрелял не ошибаясь, кончить вражину каждый военный способен, а вот задержать выстрелом - это дело похитрее, и тут нужна верная рука Ивана Егоровича.

Пока шли к Ионову, он не двигался, а когда подошли близко, вывернул шею и сказал почти спокойно, словно торгуясь на базаре:

- Если добивать не станете, все расскажу. А я много знаю, право, очень даже много.

Пришлось волочить Ионова на себе. До расположения бригады тащились долго, и Локоткову было беспокойно, словно чувствовал то недоброе, что там за это время делалось.

А произошло там вот что: при всей своей вежливой деликатности Виктор Аркадьевич в работе был до чрезвычайности крут, особенно же в тех вопросах, которые с омерзением и гадливостью определял для себя емким понятием - шкурничество. Справедливо предположив про себя в истории с "бабкиным внуком" Петушковым именно эти понятия - шкурнические, то есть не ошибку и не завиральность, которая в молодости с кем не случается, а лишь желание "получить на грудь", для чего Петушков не погнушался сфабриковать дело, полковник Ряхичев вызвал товарища Петушкова и так по нем дал в землянке комбрига, что полностью очнулся, лишь увидев непривычно белое лицо с трясущейся челюстью. Разумеется, Виктор Аркадьевич не сказал ни единого непристойного или даже грубого слова, эти способы воздействия он презирал и ими брезговал, он даже и голоса не повысил, а только, что называется, вскрыл перед подполковником те мотивы, которые руководили его действиями, и дал Петушкову понять, что не погнушается и не поленится эту же картину изобразить там, где никакие бабки никаким внукам не помогут, ежели Петушков навсегда не забудет эти свои "штуки". Стоя перед полковником по команде "Смирно" (а так он уже давно ни перед кем не ставал), Петушков клятвенно заверил картавого и седого шефа, что подобная ошибка более не повторится, но тут же дал понять Ряхичеву, что если бы не склочный характер Локоткова, то вообще ничего бы не было, а именно Локотков издавна терпеть не может его, подполковника, и потому простую ошибку возвел чуть ли не в аморальный поступок...

- Между прочим, товарищ Петушков, - сдерживая голос, произнес Ряхичев, - между прочим, не могу вам не сообщить, что именно товарищ Локотков рассказал мне о вашем блестящем поведении во время вчерашнего боя. Именно он, а не кто иной, с радостью, повторяю, с радостью, более того, с

удивлением, во всех подробностях рассказал мне и про то, как вы с дерева мастерски били, как вы в бой рванулись. Именно он, понимаете?

Петушков слегка порозовел.

- Очень ему признателен, - сказал он иронически.

И именно эта ироническая интонация вдруг совсем взбесила Ряхичева.

- И оба мы с ним, откровенно вам скажу, - тихим от гнева голосом произнес полковник, - оба мы удивлялись, зачем вам в жизни обходные пути, когда можете вы шагать напрямик. Можете! Способны! Зачем же эти хитрости, которые до добра никогда не доводят? Ясно вам? Ну, а теперь идите, я немножко передохну...

Петушков отбыл.

И надо же было так случиться, что в землянку, где ужинал в одиночестве взбешенный и угнетенный всеми последними событиями, а главное, своей опрометчивостью Петушков, явился вдруг Лазарев. Да еще и не один, а с Ингой, про которую Петушкову было известно, что она работает тоже в особом отделе.

За прошедшее время, особенно за последние сутки, Лазарев совсем повеселел. Видимо, догадывался, что Локотков, поверив ему, успел и проверить, если не по всей чекистской форме, то уж зато по всему подлинному чекистскому существу и по совести. Этому порукой был тот факт, что его трофейный автомат (правда один, а не оба) остался у него. А это для Лазарева было не фактом, а целым событием. Наверное, потому дерзкий взгляд его смягчился, глубокие глаза вдруг стали смотреть по-мальчишески ясно и доверчиво, губы сами улыбались.

Не разглядев со света в сумерках землянки, какова перед ним ужинает персона, бывший лейтенант спросил Ивана Егоровича и уже хотел было уйти, но подполковник его остановил и раздраженно выговорил ему за неуместность имени и отчества вместо воинского звания и за то, что он не обратился к подполковнику с соответственным приветствием.

Лазарев ответил кротко:

- Виноват, товарищ подполковник.

- Я вам не товарищ! - рявкнул обозленный Петушков.

Он уже, разумеется, догадался, кто был перед ним, не раз слышал эту фамилию за вчерашний день.

И решил навести свой порядок, отомстив этим способом непоклончивому Локоткову. Что-то, а тут его рука - владыка, с этими либеральностями он покончит немедленно и навсегда. Изменник есть изменник, а он, Петушков, им не потатчик!

Оба собеседника побелели. И тот, который приказал немедленно Лазарева заключить под стражу, и тот, которого увели два суровых, ко всему приобвыкших партизана. Так, ничего решительно не понявший в сложной душевной жизни Лазарева, тугоухий к человековедению, красавец Петушков едва не сорвал весь замечательный план Локоткова.

Но Инга не ушла. Инга осталась.

- У вас что? - спросил Петушков, уже с сожалением понимая, что малость переборщил. - Вы по какому вопросу?

Шанина молчала.

- Вы ко мне? - ясно понимая, что она вовсе не к нему, осведомился подполковник.

И тогда она спросила совсем тихим, едва слышным голосом:

- Зачем вы это сделали?

- А затем, - начал объяснять он ей и тут же понял, что этой беседой ставит себя в нелепое положение. - Короче, идите, - сказал Петушков, - не ваше это дело. Впрочем, - смутно догадываясь об отношении Инги к Лазареву, остановил он ее, - впрочем, если вы, работая совместно с Локотковым, позволяете себе заводить шашни с...

Но договорить ему не удалось.

- Знаете что, - сказала Инга Шанина отдельно, негромко и внятно, - знаете что?..

Он вдруг совсем растерялся:

- Ну, что?

- Ничего, - сказала она, - просто очень стыдно. Стыдно, и все тут. А

если вам не стыдно, то вас выгонят. Не завтра, так послезавтра. Потому что это не может быть.

И, повернувшись, она ушла.

А ему не было стыдно. Он только совсем испугался, что опять сделал глупость, опять все себе испортил, хотя мог же идти иной дорогой - прямой, как выразилась эта старая песочница. Но ведь разве одной прямой дойдешь куда надобно? Разве так бывает?

Партизаны же к этому времени привели Лазарева в землянку-узилище и сдали, соответственно, караульному парнишке. Наступил вечер, дождь по-прежнему моросил нескончаемо. Караульный расхаживал над головой Лазарева, пел-свистал частушки.

Лазарев, не привыкший унывать, вздохнул раз, другой, поразмыслил и, представив себе всю картину полностью, что называется, вдруг сдал. Показалось ему все его дело так, что милый Сашиному сердцу Иван Егорович смещен и выгнан из-за того седого полковника, который только с виду казался добродушным, а по самой сути он и есть главная змея. Он, конечно, Лазареву не поверил ни в чем, счел его засланным, рассказ о побеге и всем прочем - легендой и за доверчивость приказал Локоткова наказать. Сашу же изолировать до времени этапирования в тыл, где его будут судить трибуналом, как офицера-изменника. Вот как искаженно представились Лазареву все имевшие место происшествия.

Пуще же всего страшило Лазарева молчание Инги. В измученном мозгу его внезапно созрело мнение, что Инге поручили доставить Лазарева к подполковнику с тем, чтобы тот арестовал его, засадил в землянку-тюрьму, что она знала все наперед и именно потому ничему не удивилась и слова ему не сказала на прощание...



От этой мысли ему стало совсем худо и страшно, и, когда это все вместе у него окончательно сложилось и определилось, он решил немедленно своей смертью доказать им всем то, что уже никогда не сможет доказать подвигом, о котором так долго и так горячо мечтал.

Карандашик у него был, истертый кусок записной книжки тоже. Зная, что его тело обыщут впоследствии, он сел на корточки, слизнул языком вдруг выкатившуюся слезу и стал писать в книжке о доверии, без которого никакой, даже провинившийся, человек жить не может. Написал он и про Локоткова, чтобы того вдруг не обвинили в том, что Лазарев своей смертью его, Ивана Егоровича, грехи покрывает, написал в том смысле, что и Локотков ему не доверял, никто не поверил Лазареву, так получилось по его записке. Ингу же он не упомянул вовсе, и не потому, что забыл ее, разумеется, не забыл, а только потому, что слишком дорого обошлось ему ее нынешнее молчание, ругаться же на пороге смерти Лазареву не хотелось.

Отдохнув малость от своего прощания с жизнью, Саша ловкими, все умеющими руками смастерил из немецкого узкого ремешка петлю, примерил ее на шею и затаился от часового, который, спасаясь от внезапного ливня, вошел в землянку и сел на ступеньку сверху так, что были видны только его разбитые чоботы, подвязанные телеграфной проволокой.

Время шло - Саша ждал.

В землянке часовой петь стеснялся, теперь он, разумеется, должен был заснуть. Так и случилось. Нога юного часового соскользнула со ступеньки, румынская винтовка съехала набок, караульный стал посвистывать носом. Под этот посвист и посапывание, под ровный, неумолчный шум ливня Саша Лазарев и повесился.

Но сделал это он недостаточно аккуратно. Тонкое бревно наката, которое еще и немцам служило, оказалось гнилым, под тяжестью Сашиного тела оно у стенки рассыпалось в труху, и Лазарев грянул спиной оземь. Упала скамья, за которую Лазарев схватился рукой, часовой очнулся от легкого сна и при свете

каганца увидел своего заключенного, который, отряхиваясь и трясая головой, вновь прилаживал петлю.

- Ты это что? - спросил караульщик, скатываясь вниз.

- Уйди! - просипел Лазарев.

- Нет, ты что? - уже совсем обеспокоился часовой. - Ты как это так делаешь? Это не положено!

Лазарев караульщика отпихнул.

Они схватились драться.

Лазарев, который, конечно, был куда сильнее и ловчее своего часового, без всяких усилий выкрутил у него из рук винтовку румынского происхождения, и быть бы большой беде, если бы Саша не разглядел, что караульщиком ему был назначен мальчонка лет никак не более пятнадцати.

- Забирай свое вооружение и катись от меня, - велел Лазарев. - Слышишь, вались!

- А ты еще вешаться станешь? - размазывая по лицу слезы и сопли, сказал парнишка. - Вот я как стрельну сейчас, как сделаю тревогу на весь лагерь...

- Вались! - истерическим голосом крикнул Лазарев.

Повеситься он не смог, потому что немецкий ремешок из эрзац-кожи после первой попытки начал рваться, да и часовой сменился, теперь пришел рыжий детина, который сразу же своего заключенного предупредил:

- Я в курсе. И чтобы был порядочек.

Потом посоветовал:

- Ты, кум, зря в бутылку лезешь. Мало ли случаев бывает. Моя автобиография тоже жуткая, если вдуматься: опоздал на работу - заимел судимость. С судимостью приехал к тетке в Ленинград, вторую довели за нарушение паспортного режима. Две судимости - социально чуждый элемент. А комбриг не погнушался, вручили винтовку. Воевал небезуспешно, правительственную награду имею - орден Красной Звезды. И еще представлен. Войну закончим, тогда побеседуем, чуждый я социально или социально не

чуждый...

Лазарев почти не слушал, дремал, привалившись к сырой стене, все ему было теперь все равно.

А Инга в это время ждала Локоткова. Она совсем промокла, промокла насквозь под этим ливнем, но именно она, а не кто другой, должна была предупредить Ивана Егоровича обо всем случившемся. Она все видела и все знала, и Локотков должен был знать всю правду не от подполковника, а от нее. Ведь шли они к Ивану Егоровичу за тем, чтобы он принял от Саши его тайник с гранатами, Инга убедила Сашу, что он кулак и по-кулацки заховал свои трофеи. И вот что из этого вышло...

Наконец, уже ночью, когда дождь прошел и небо вызвездило, явился Иван Егорович со своими ведомыми и с теми, кого они там задержали на хуторе. Один стонал и жалостно охал, наверное раненный, его потащили в госпиталь, к Знаменскому. Двое других Инге почтительно откозыряли.

- Ну, чего тебе ночью потребовалось? - спросил Локотков.

Она доложила ему все с подробностями.

- Да ты что? - даже отшатнулся он от нее. - Как это взяли под стражу?

- Разве непонятно я рассказала? - спросила она.

Рот ее покривился, словно у девчонки, которая вот-вот заплачет. И голос сорвался.

- Но-но, - предостерег Иван Егорович суровым голосом, рукой же погладил ее по плечу. - Иди, девушка, спи. Разберемся. Слышишь?

Ее огромные, налитые злыми слезами глазищи неподвижно смотрели на него.

- Нехорошо, - сказала она, стараясь успокоиться. - Несправедливо.

Стыдно так делать.

- Спать иди! - повторил он грозно.

В своей землянке услышал он от незваного постояльца Петушкова длинный и нудный выговор. Были, разумеется, и слова о гнилом либерализме, о потере бдительности, о потакании врагу, о санаторном режиме для изменников Родины и

о том, что все будет, где надо и кому надо, доложено. Так Петушков расправлялся со своим непокорным подчиненным, так мстил он ему за седого Ряхичева, за свои испуганные мыслишки, ибо уж не так он был глуп, чтобы не понимать, как иногда бабка ворожит-ворожит, да вдруг и перестанет, ежели кто дойдет до самой Советской власти или, допустим, до Центрального Комитета. Да, в сущности, и бабки не так уж ворожили своему плоеному внучонку, как внучонок выучился на эту тему осторожно распространяться. И от страха, и от злобы, и от того, что здесь-то после отлета седого Виктора Аркадьевича он в безопасности, Петушков и кинулся нападать.

А для того, чтобы выговор звучал поосновательнее, для того, чтобы на Локоткова нагнать страху, подполковник распалял себя колоритными словами, которыми, по его мнению, непрестанно пользовались партизаны, то есть матерной бранью. Да почему и не ругаться на войне военному человеку, такому, как Петушков? Или не показал он себя в деле?

Локотков во время выговора стоял, подполковник сидел. Когда буйное красноречие внучонка поиссякло, Иван Егорович, ни в чем не оправдываясь, нисколько не извиняясь и ничего, видимо, не испугавшись, попросил разрешения задать вопрос.

- В чем еще дело? - буркнул все еще разгневанный начальник. - Какой такой вопрос?

- Вопрос следующий: как это вы, человек, по вашим же собственным словам, образованный, по вашему собственному утверждению, интеллигентный, можете себе позволять матерными словами ругаться на военнослужащего, младшего вас в звании? На военнослужащего, который перед вами стоит, когда вы сидите, то есть несет свою службу, а не беседует с вами на равных? Как это может все быть в условиях нашей Красной Армии? Вот, прошу, ответьте мне на мой вопрос.

Измученный Иван Егорович был сейчас страшноват. Ноги не держали его, почерневшие от лихорадки губы спеклись. И светлые глаза словно бы пламенели

гневным бесстрашием.

- Да вы, пожалуй, больны! - воскликнул "чуткий" Петушков. - Я вам доктора позову...

И он даже приподнялся, опасливо косясь на своего недруга, но тот не позволил ему позвать врача.

- Тогда сами туда пойдите, - перейдя на совсем мирный и даже дружественный тон, присоветовал подполковник. - Там и отлежитесь.

- Нет, я уж в своей землянке отдохну, - опускаясь на топчан, произнес Локотков. - Мне тут не дуется. А вам советую у начштаба разместиться, потому что я в простуде и сильно стану храпеть.

Петушков, что называется, не дал себя слишком уговаривать, а бессонный Локотков, едва хлипкая дверь захлопнулась за начальством, послал в узилище за Лазаревым. Когда усохший лицом за этот день Саша был приведен, они впервые вместе закурили, Иван Егорович угостил Лазарева из своего кисета. Разговор двух мужчин слегка коснулся погоды, дождей и предполагаемой вслед за осенью зимы. О несправедливости старшего начальника они не беседовали, ибо оба были военнослужащими и знали, что к чему и что "этично", а что "неэтично".

- Слышал я, хотел ты нынче повеситься? - спросил Локотков, облизывая сохнувшие губы.

Лазарев промолчал.

- Глупо! - резюмировал это молчание Иван Егорович. - Какой в этом смысл? Тебе свои прегрешения делом искупать надо, а повеситься - это не дело, а собачья чепуха.

- Есенин же повесился, - заметил Саша.

- То было мирное время и, вообще, ситуация другая, - на низком регистре ответил Локотков и сам подумал про свои слова, что-де небогато. - Да и ты, брат, не Есенин, а пока что Лазарев.

Помолчали.

- Кушал? - осведомился Локотков.

- Нет, не кушал, - сказал Лазарев.

- Возьми там котелок, покушай.

- А вы?

- А я приболел малость, так полежу.

Лазарев съел картошку с комбижиром, потом попил воды. Теперь он понимал, что позвали его сюда и покушать, и "перекурить это дело", потому что ему верят. Не все верят пока что, но Локотков, пожалуй, верит. И, осмелев, Лазарев спросил:

- Вы теперь все про меня уяснили?

- Многое уяснил.

- И теперь вы мне окончательно поверили?

- Допустим, Лазарев, поверил.

- Через проверку?

- Предположим, так.

- А как же вы меня проверили?

- А так же, Лазарев, я тебя проверил, что, коли ежели эту войну переживем и до коммунизма доедем, хоть и к глубокой нашей старости, там тебе, в коммунизме, расскажу, как проверял и каким способом. А пока что рано еще нашу деятельность в ее подробностях раскрывать. Чужой услышать может...

- Кто чужой? - совершенно по-мальчишески оглядел Лазарев землянку. -

Откуда?

Иван Егорович не ответил, лишь улыбнулся. И отослал Лазарева спать, наказав ему по пути к себе известить "товарища Шанину", что у него "все в порядке".

Саша молча смотрел на Ивана Егоровича.

- Делай, как сказано! - прикрикнул Локотков. - На военной службе, если не ошибаюсь, находитесь, Лазарев?

Саша вышел под ясные, крепко отмытые ливнем звезды. Дед Трофим, с

бородой раскольника, с немецким автоматом на шее, с гранатами на поясе, узнал Сашу и поинтересовался, когда "обратно" будет концерт. Он и проводил Лазарева немножко по улице к обгорелой избе, где жили девушки. Какая то ночная птица жутко гукала в чащобе за Дворищами, словно предвещая беду.

- Классического у тебя бедновато в репертуаре, - посетовал Саше на прощание дед Трофим, - занялся бы на досуге, например арию Демона из одноименной оперы...

- Ты ж откуда это знаешь, дед? - даже остановился от удивления Саша.

- Думал, пню молимся? Нет, друг дорогой, не лесные мы жители. Я лично - рабочий сцены, вот так. А бороду отпустил для партизанского виду. И уважения больше, чем вам, бритым. Никто не распорядится: одна нога здесь, другая там, давай, дед, на полусогнутых. Дед он дед и есть, а что мне тридцать девять - это моя страшная и глубокая тайна...

Инга, конечно, не спала.

Накинув на плечи сухую шинель подружки, она выскочила на крыльцо и замерла в полушаге от Лазарева.

- Все у меня в порядке, - сказал он, глядя прямо в ее мерцающие зрачки.

- Локотков велел передать вам, товарищ Шанина, что все в порядке.

## **ГЛАВА СЕДЬМАЯ**

- Я вам все скажу, только вы меня не торопите, - попросил Ионов. - Я должен все по порядку припомнить.

Локоткова по-прежнему была и корежила лихорадка. Доктор Знаменский, увидев Ивана Егоровича, хотел измерить ему температуру, но Локотков не дался, сказав, что после войны только и будем делать, что температуру измерять, а на сегодняшний день у него нет времени, да термометры и не лечат

ни от чего. И уединился со своим накануне подстреленным вражиной.

- Расстрел мне будет? - осведомился Ионов.

- Как суд присудит, - вздохнул Иван Егорович.

- А не то что здесь сразу и шлепнут?

- Навряд ли здесь, - не слишком обнадежил шпиона Иван Егорович. -

Теперь давай, освещай подробно все свое задание. Старшой ты?

- Я.

За дощатой перегородкой зашумел примус. Там была у Знаменского операционная. Керосин очень берегли, и если примус шумел, значит, Знаменский готовился оперировать.

- Кого привезли, Павел Петрович? - крикнул Локотков.

Но за шумом примуса ответа он не расслышал и стал записывать показания ИONOва, держа свою выдавшую виды папку на колене. Сопутствующих ИONOву мужичков он уже попервоначалу допросил и сейчас испытывал от всего этого дела некоторое смешное чувство неловкости. Мужички порознь друг от друга сознались, зачем их сюда забросили, и Локоткову было и совестно, и вроде бы соромно копаться во всей этой глупой истории. Наверное, следовало бы передать всю тройку Игорю, но Игорь был занят, сидел на хуторе, поджидал ионовских дружков. Вообще, все складывалось до чрезвычайности глупо.

- Вопрос: кто с вами беседовал перед отправкой на выполнение задания?

- Сам господин Грейфе, - ответил пучеглазый Ионов. - Лично сам в своей резиденции в Ассари. Он нам сказал: убьете генерала - озабочусь вашей дальнейшей судьбой, потому что генерал этот...

- Вопрос, - поспешно перебил ИONOва Иван Егорович, - кто вас экипировал, когда вы ждали отправления из Пскова?

- Это как?

- Одевал и снабжал кто?

- Хромой, - ответил Ионов. - Он всех провожает. С деревянной ногой, говорят - из матросов.



- Какой он с виду, этот "из матросов"?

- Конопатый - раз. Низкого росту - два. Старый...

- На сколько лет выглядит?

- Какого году?

- Ну, допустим.

- Году не менее как девяносто пятого. Люди говорят - с Эзеля он. Там и ногу потерял.

- Почему в такое доверие к немцам вошел, что один экипирует?

- Предполагаю, что из-за своей сильной искалеченности. Совсем едва ходит. И из каптерки своей никогда ни шагу. Ампутация у него слишком высокая...

- Старательно работает?

- А у него только и жизни что работа. Доложил вам, точно доложил, никогда не выходит. Деревяшку-то редко подвязывает. Все больше скачет. Скок-поскок. Да палкой упирается. Вообще-то очень внимательный господин. Одежда исключительно советская, трофейная, оружие там, прочая хурда-мурда, исподнее, ремень, шапка...

- Зажигалка, по-вашему, тоже советская?

- Зажигалки у него навалом на столе лежали. Я попросил.

- Вы понимали, что по этой зажигалке вас разоблачить могут?

Ионов помолчал.

- Зачем? - погодя спросил он. - Разве у солдата трофея быть не может?

- И таблетки он вам тоже дал после вашей просьбы?

- Таблетки сам отпустил. От простуды, сказал. Насыпал из банки в бумажку.

- Предупредил, что немецкие?

- А на них разве написано?

За перегородкой кто-то ухнул тяжело, как филин. Павел Петрович заругался: он не любил, когда ему мешали оперировать, а с наркозом в бригаде

нынче было туго.

- Выполнение террористического акта кому лично было поручено? - стараясь говорить серьезно, спросил Локотков. - Вам, Серому или Козачкову?

- А это как случай выйдет, - с готовностью разъяснил Ионов. - Серый, например, был раньше поваром первой руки. У него имелось задание - взойти в доверие на кухне и самому генералу готовить ихние порционные блюда. А для того случая - ампулы, что вы отобрали. Яд, четыре сбоку - ваших нет.

Иван Егорович отвернулся, чтобы скрыть улыбку.

- У вас какая была задача?

- Я шофер, - произнес Ионов. - Первого класса шофер, генералы же часто в шоферах нуждаются. Это господин Грейфе нам разъяснил. Козачков же для связи предназначенный, чтобы сообщение дать, когда дело будет сделано.

- Ну, а остальные, те, кого вы поджидали?

- Мы людей не поджидали, - после паузы произнес Ионов, - мы груз поджидали. Взрывчатку и еще различные детали, чтобы взорвать этого генерала-разведчика.

- И взорвали бы?

- Если скажу "нет", не поверите, - угрюмо произнес Ионов. - Теперь хоть лопни, никто не поверит, этого мы недоучли.

- Зачем же вы тогда убежали, если действительно повиниться хотели?

За дощатой перегородкой густой голос попросил:

- Ты бы полегче, Павел Петрович, я тебе не лошадь!

- Руками не цапай! - опять заругался Знаменский. - Объяснял же: инфекцию внесешь...

- Еще вопрос, - сказал Локотков, - какое этому матросу имя и отчество?

Террорист Ионов подумал и пожал плечами.

- Ни к чему мне было, - ответил он, - одел, вооружил, пищу-питание выдал - и будь здоров, не кашляй...

Но Иван Егорович матросом интересовался всерьез. Он и лампадных

мужичков про матроса выспрашивал, и других прежних своих клиентов и пациентов, как любил обозначать словесно агентуру противника. Уже давно возникла у Локоткова концепция, которая всегда подтверждалась. Матрос нарочно снабжал агентуру чем-либо немецким - часами ли, компасом ли, зажигалкой ли, а то и таблетками, и особой ампулкой немецкого происхождения: дескать, не зевайте там, други мои и кореша, за линией фронта, не сбежать мне, одноногому, а вот вам от меня знак - это агент, шпион, диверсант, обратите внимание на мелкую мелочь, не прозевайте, не прохлопайте!

С партизанами матрос связан не был, но имелись сведения, что связаться он желал. Но за той колючей проволокой, где было его обиталище и где находились немецкие каптерки и склады, за хромым следили во все глаза, о чем он даже дал понять человеку Локоткова, и на этом разговоре все вновь надолго оборвалось.

Обдумывая на ходу деятельность матроса, Иван Егорович направился к себе в землянку немного передохнуть. По пути услышал он голос Лазарева. Саша пел свою любимую, с коленцами и подсвистыванием, песню:

Прощайте, глазки голубые,

Прощайте, русы волоса...

Здесь Александр засвистал кенарем. Локотков оглянулся: Саша шел к строящейся баньке и пел:

Прощайте, кудри навитые,

Прощай, любимый, навсегда...

"Даст же природа одному человеку!" - подумал Локотков даже с удивлением. От этого звонкого, дерзкого, как все в Лазареве, голоса у Ивана Егоровича повеселело на душе, поганые террористы с их медовыми покаяниями

словно бы растаяли и совсем уже неожиданно пришло в голову: "Неприменно надо этому Лазареву человеком войну окончить. Ему бочком-петушком проскочить никак нельзя. Невозможно ему по среднему счету!"

Сам же Лазарев в это время как ни в чем не бывало, выбритый, стройный, очень красивый, даже немножко слишком для партизана щеголеватый, явился к своей "артели напрасный труд", как он довольно метко их назвал, потому что лагерь вечно переезжал и плотники опять начинали все с самого начала, осведомился, почему-де не приветствуют, и закурил. Ребята рубили сруб для баньки, жала топоров посверкивали на лесном нежарком солнце.

- Работать надо с огоньком, - сказал Лазарев. - Так и видно по вас, что нестройной взвод! До смешного!

- Иди ты знаешь куда! - сказал ему рыжий плотник. - Учитель отыскался. Мы красные партизаны, и про нас былинники речистые ведут рассказ, а ты...

- Я, между прочим, вполне могу в морду врезать! - посулил Лазарев.

Плотник бросил топор, выпрямился.

Другой, огромный, бородатый, закричал старческим тенором:

- Эй, вы, ополоумели?

Рыжего ударила припадочная дрожь, ничего не слыша, он рванулся на Лазарева, тот отпихнул его одной рукой, но не сильно и попросил:

- Не вяжись. Прости, если не так сказал. Ты в моей шкуре не был, не знаешь!

Бородатый оттянул рыжего на себя, другие тоже ввязались, чтобы не проливать кровь. У рыжего фашисты спалили живьем всю семью, он не мог вдаваться ни в какие биографии. Лазарева же предупредили:

- Живи тише. На тебе печать, покуда не отмоешь - молчи в тряпочку.

- Это так, - согласился Лазарев, - я разве спорю? Про то и разговор.

Обидно только бывает на свою судьбу. Моешь, моешь - никак не отстирать.

После замирения бородатый осведомился, за что Лазарев был подвергнут репрессии в виде ареста и содержания под стражей. Саша подумал и ответил:

ввергли его в узилище за дело, позволил себе нарушить принятый тут порядок, так пусть же все видят на его печальном примере суровое предупреждение для себя. Хотя тут и партизаны, но дисциплина у них гвардейская, в чем Лазарев и убедился на собственной шкуре.

Ответ понравился, даже рыжий молча кивнул головой.

Погодя Лазарев заявил, что верхний венец срублен неправильно, потом высчитал на обороте своей предсмертной записки о доверии высоту трубы, после, хоть и не был тут старшим, нарядил людей за глиной к оврагу и, наконец, сам взял в сильные руки топор и с красивой легкостью, словно напоказ, принялся тесать могучий ствол сосны.

- Да ты что, в самом деле плотник? - спросил у Лазарева проходивший мимо подрывник Ерофеев, - Или кто ты?

- Я, товарищ командир, плотник-медник, злой жестянщик, - ответил Саша, - а если желаете знать для дела, то я лучший в мире мотоциклист, да вот война помешала в гонщики выйти...

- А давеча, я видел, автомат чинил, - сказал Ерофеев.

- И это могу, - воткнув топор в дерево, ответил Лазарев. - Я все могу.

У меня руки золотые, зрение абсолютное, голова - другой такой не сыщешь и голосовые данные для Большого театра СССР.

- Вот дает! - удивился Ерофеев.

- Думаете, шучу? - осведомился Саша серьезно и даже печально. - Я не хвастаю, честное слово. Такой уж я человек, на все способный. Одна была неудача - в плен попал, больше не будет.

- Убить еще могут, - сядя на ствол сосны рядом с Лазаревым, вздохнул Ерофеев. - Война не завтра окончится.

- Теперь меня убить нельзя, - со странным и веселым блеском в глазах ответил Лазарев. - Не для того я сюда пришел, чтобы меня убили. Я на большие дела пришел, вот увидите...

- Ишь какой! - опять удивился Ерофеев.

- А что? Обо мне, может, и статьи напишут, и стихи, и песни...

- Скромн ты, парень!

- Был скромн, весь вышел, - опять загадочно ответил Саша. - Надоело!

Погодите, еще прочитаете обо мне стишок.

СТИШОК НЕ СТИШОК, но документы о Саше Лазареве, документы малословные, точные, написанные жестким языком военного времени, положены на вечное хранение, а повесть эта пусть послужит памятью о жизни Александра Ивановича Лазарева, о котором мы ничего не знаем, кроме изложенного в этой повести. И очень будем благодарны тем читателям, которые вдруг что-либо вспомнят об этом примечательном человеке, родившемся в 1919 году в городе Павлове, Горьковской области, чем и исчерпываются все наши биографические данные...

...Пошабашив на строительстве бани, Лазарев съел котелок супу с глухарем, одернул на себе германский китель и отправился без приглашения к Ивану Егоровичу.

Локоткова опять крутила ненавистная злая лихорадка, но, несмотря на недомогание, встретил он Сашу приветливо и велел ему присесть.

- Слышал, раздал свои кулацкие запасы гранат? - спросил он.

- Было такое дело, - чинно сядясь, ответил Лазарев.

- По зову сердца или под нажимом?

- Товарищ Шанина воспитательную работу провела, - сухо произнес

Лазарев. - Разъяснила про коллектив...

Он вдруг вспыхнул:

- Будто я сам не знал, что такое коллектив. А здесь, когда все законные, все военные, всем оружие и боеприпасы положены...

- Не шуми! - попросил Иван Егорович. - У меня температура.

И, помолчав, осведомился:

- Слышно, после победы собираешься в артисты податься, на оперную сцену? Будто голос у тебя прорезывается исключительный?

- В артисты навряд ли сгожусь, - ответил Саша. - Уже совался. Говорят,

у меня скованность движений. По радио петь буду, это возможно. А специальность себе изберу точную - дома людям строить, детясли там, больницы.

- В архитектуру прорвешься?

- Возможный вариант.

Отвечал на вопросы Лазарев тщательно, но что-то его тревожило.

- Ты за делом зашел? - спросил Локотков.

- Да вроде бы оно и не дело. Скорее, просьба. У меня, видите ли, товарищ Локотков, есть один друг...

- Девушка? - вдруг огорчившись за Ингу, спросил Иван Егорович.

- Зачем девушка? Мужчина, товарищ. Он ко мне хорош был, много мне дал, если так можно выразиться. И наверное, сильно переживал за меня... Это ведь называется "пропавший без вести". Так вот, хотел бы я отправить ему письмо.

- Письмо рано, - перемогшись от приступа озноба, произнес Иван Егорович. - Погоди с письмами...

- С чем же мне не погодить? - спросил Лазарев. - Разве есть хоть что-либо, с чем мне можно не годить?

Голос его задрожал.

- Фамилия-то давешнего подполковника - Петушков? - яростно осведомился Саша. - Точно, Петушков. Так знаете, как оно все называется? Петушковщина, - словно выругался он и тотчас же повторил: - Петушковщина. Один больше ею начинен, этой петушковщиной, другой меньше, но все едино - петушковщина, от которой уже и дышать вовсе невозможно. Сделайте рентген такой, просмотрите насквозь, ведь и мы люди, дайте нам полностью оправдать...

- Что ты именуешь "полностью оправдать"?

- Именую, если подвиг, но как его осуществить опять-таки без доверия?

Как?

- Поживешь - увидишь.

- Живу, да не вижу.

- А тебе пока и не положено видеть Выйдет время, разглядишь, и стыдно тебе покажется, что ты меня петуховщиной какой-то попрекал. Письмо другу напишешь, а что в нем? Что? Ты его потом, после всего напиши, когда будет про что. Петушковщина... Дурак ты, вот кто! Я тебя на большое дело готовлю, а ты мне темную муру лопочешь про недоверие. Ты мне на серьезную работу необходим, а автоматчиков пока мы имеем не бедное число. Автомат ему не доверили! Петушковщина... или как там... Я тебе во втором эшелоне и вообще на подхвате не дам в люди выйти. И мелкими стычками с противником - не дам. Оно конечно, оно так, как ты в песне поешь, - жалко "солнышка на небе да любви на земле", но подлецу, Сашка, и солнышко не светит, и любовь вроде не в любовь. Так что я тебя из этого переплета иначе как с большим орденом не выпущу, и не надейся, тем более что хоть оно дело и не мое, но, как предполагаю, "любовь на земле" тоже у тебя на подходах...

- Это вы про что? - не оборачиваясь к Локоткову, спросил Саша.

- Может, и сам догадаешься? Только предупреждаю: шуточки тут места иметь не могут. Она девушка замечательная, ты в себе прежде разберись...

- А может, это мое личное дело? - показал зубы Лазарев. - В крайнем случае, мое да ее? Или теперь вся моя жизнь под рентгеном пройдет?

Они помолчали. Слишком уж крут сделался разговор.

- Что же касается подвига, - смягчившись, но все еще сурово произнес Лазарев, - то в нестроевом взводе его осуществить трудновато. Баньку, например, отстроим, попаримся, а дальше?

Локотков усмехнулся:

- У тебя другая банька будет! И не без пара.

Его опять стала выкручивать лихорадка, так, что даже он не сдюжил и со стоном накрылся старым полушубком. И ноги болели, и голова гудела, и холод проносился по всему телу...

- Может, покурите? - спросил Саша.

- Сверни.



Лазарев свернул, прикурил, затянулся и отдал козью ножку Ивану Егоровичу. Но себе свернуть постеснялся, хоть курить ему хотелось до одури.

- Свернул, так сам и кури, - распорядился Локотков. - И про полковника Кротова расскажи, какие вы там друзья-товарищи.

Саша даже закашлялся, услышав имя Кротова. Откуда Иван Егорович мог про Кротова дознаться?

- А он жив?

- Воюет, не то что просто жив. И хорошо воюет, даже в приказах, бывает, поминается.

Саша слегка присвистнул:

- И доверяют ему?

- Если командует, значит, доверяют.

- Ничего это еще не значит, - сказал Лазарев. - Вон царским военспецам не доверяли, однако же они командовали?

Локотков на это ничего не ответил. Спросил сам:

- Почему ты мне про полковника Кротова не заявил, что спас его?

- Потому что вы мне в ту пору все равно бы не поверили.

- А позже?

- Позже и без Кротова поверили, и тогда бы вышло, что я хвастун.

- А ты, ох скромник!

- Я чистосердечный. Что во мне положительное, то не скрываю, но и недостатки, конечно, имеются, с ними борюсь... Борьба с собственными недостатками труднее, чем с чужими, это все знают...

Иван Егорович слушал улыбаясь: совсем еще мальчик.

- Какие же у тебя, например, недостатки?

- Мало ли... В молодости, в школе, я их даже на бумажку записывал, чтобы, изучив себя, бороться со своими слабостями и недоработками в характере. Потом бросил, самокопание получалось, оставил эту затею...

- Ладно с самокопанием. Вернемся к Кротову. Ты ему свои костыли отдал,

чтобы его приняли за тебя? Было это?

- Что-то было вроде этого. Потом сильно меня били, Иван Егорович.

Памороки отбили. Долго и не помнил ничего, и руки дрожали, кушать не мог.

- А с Купейко со своим ты сильно дружен был?

- Был. А что? - напряженно осведомился Лазарев.

Голос Локоткова тоже напрягся. Но он готовил Лазарева, закалял его, и жалеть сейчас было неуместно.

- Сильно дружили?

- Как один человек! - воскликнул Лазарев. - У нас все напополам было. Я за него, как и он за меня...

Иван Егорович молча смотрел на Сашу. Такие раны не легко наносить. Но он должен был это сделать сейчас, а не после. Пусть идет к ним, вооруженный и этим горем: без горя какая ненависть! Чем больше горя, тем сильнее ненависть. А она поможет!

- Вы про Купейко узнали что-нибудь? - спросил Лазарев. - Да? Что?

Только, если подлость, вы не верьте! Он подлость не мог сделать...

- Убили твоего дружка, - сурово и прямо произнес Иван Егорович, - застрелили за агитацию против фашистов. Перед строем застрелили.

Лазарев не шелохнулся.

- Где? - только и спросил он.

- В Печках, в школе, куда ты хотел с ним попасть. Давно уже убили...

- Так, значит, - тихо сказал Лазарев и поднялся.

- Нет, посиди, - велел Иван Егорович, - посиди, говорить будем о деле.

Физически как себя чувствуешь?

Лазарев ответил с недоумением:

- Как? Нормально.

- Можешь задание выполнить?

Лазарев как бы даже задохнулся. Потом, словно бы опомнившись и испугавшись своей радости, сказал:

- Вроде насчет бани задание?

- Нет, задание настоящее.

Локотков сел на своем лежаке, попил из кружки воды и заговорил, видимо совсем справившись со своей хворью:

- Запоминай!

- Есть, запоминать, - с придыханием сказал Саша. - Все запомню.

- Шесть пунктов, - густым, как бы даже сердитым голосом, словно диктуя по книге, заговорил Иван Егорович. - Слушай внимательно, потом повторять станешь. Значит, первый пункт: направиться в город Псков и вместе с жителями Пскова эвакуироваться в Эстонию, где изучить обстановку. Второй пункт: после изучения обстановки в Эстонии проникнуть ближе к местечку Печки, устроиться на одном из хуторов работать и жить и при этом пройти регистрацию у немцев, как эвакуированному...

- Эвакуированному, - словно эхо повторил Лазарев.

- Третий пункт: зарекомендовав себя перед жителями и старостой, заручившись положительными отзывами о работе и поведении, поступить на службу в группу эстонской самообороны, затем в охрану гарнизона, располагающегося в Печках. Ясно?

- Пока ясно.

- Четвертый: проникнув на службу в охрану гарнизона, установить руководящий состав школы...

- Так это ж там они Зину и убили, - вдруг все понял и сообразил Лазарев. - Именно там?

- Какую еще Зину?

- Да Купейко. Его Зиновием звали. Значит, туда мне задание?

- Туда, где твоего друга убили, - ничего не смягчая и не "подрессоривая", жестким голосом Продолжал Локотков. - Установишь точно цель и задачи школы, состав слушателей, местожительство руководства. Ясно?

- Ясно.

- Пятое: изучишь режим охраны домов руководящих работников школы, пути подхода к жилым помещениям, расположение постов охраны. И шестое: установить пароль на каждый день при входе в расположение гарнизона и выходе из него.

Запомнил?

- В общих чертах...

- Общие черты в нашем деле копейку стоят. Давай запоминай конкретно и слово в слово.

Через полчаса Лазарев все запомнил, По его словам, навечно. А запомнив, осведомился:

- И это все?

- Дальнейшие задания будешь получать на месте, через нашего человека, который назовется тебе Марусей.

Его опять тряхнул озноб, он плотнее укутался полушубком и добавил:

- Маруся укажет тебе лесной тайник, где будут конкретные задания. Шифр простой, займемся, обмозгуем...

К ночи и с шифром было покончено.

- Срок тебе до первого января сорок четвертого года, - сказал Локотков.

- Управишься?

- Раньше управлюсь! - азартно ответил Лазарев. - Вы ни о чем даже не думайте. Все сделаю и с песней домой приду.

Иван Егорович внимательно и быстро взглянул в Сашино лицо, едва освещенное пламенем коптилки. Что это - молодость или просто радуется, что вырвался от чекиста Локоткова к своим хозяевам - абверу?

"Нет, так нельзя рассуждать, - сурово оборвал себя Иван Егорович. - С такими рассуждениями живо Петушковым станешь. Нет, это отчаянная молодость в Саше кипит, не иначе. Думать по-другому действительно петушковщина".

Но петушковщина не такой уж легко победимый враг. И не без труда отряхнул ее Иван Егорович, прощаясь с Сашей.

- О том, что уйду от вас, никто знать не должен? - уже поднявшись с

лавки, осведомился Лазарев.

- Никто, конечно.

- Ни один человек?

- Ни один. Да ты что, шуточки шутишь? - вдруг рассердился Иван

Егорович. - Ты как об этом рассуждаешь?

- А так я и рассуждаю, что имею право просить про одного лишь человека.

Имею право, чтобы он не предположил, будто Лазарев сбежал обратно к фюреру.

Или и этого права у меня нет?

- Надейся на меня, - ответил Локотков.

- Твердо?

- Надейся.

- Я и надеюсь, да только жутковато, товарищ Локотков: вдруг позабудете.

Возьмете и позабудете. Все бывает...

- Закрой дверь с той стороны! - велел Локотков.

Саша вышел легкой походкой, а Иван Егорович, коря себя петушковщиной, все-таки стал дотошно и педантично умственным взором выверять все это время, все собеседования с Сашей, все проверки и перепроверки и все свои расчеты для грядущей рискованной и нисколько не одобренной подполковником Петушковым операции. А если бы осторожный Петушков еще подозревал, кто будет в этой затее главным действующим? На кого надежды? А если главный действующий вдруг как высочайшей награды ждет именно такое поручение, чтобы на блюде подать его немецкой разведке и получить за свою деятельность Железный рыцарский крест?

Вновь встряхнул тяжелой, усталой головой Иван Егорович. И опять с тоской и болью подумал о том, сколько не сделано того, что могло бы быть с пользой сделано, если бы не остерегались верить в тех людей, которые на поле славы и чести беззаветностью своего поведения заставляли раскаиваться неверящих, к сожалению тогда, когда все было совсем поздно. Был такой летчик, татарин Хайруллин, еще в те тягчайшие дни, когда выводил Локотков

болотами окруженцев. Воевал Хайруллин в пехоте, самолет ему почему-то не доверили, было нечто за ним записано такое, что давило его, как петля, и, дабы эту петлю сбросить, он с дюжиной своих дружков внезапно кинулся на немецкий разъезд с ножами. Немцы от бешеного натиска опрокинулись и, как писалось в старину, наголову были разбиты, но на их стрельбу и вопли кинулись бронетранспортеры и побили очередями из автоматов всех смельчаков во главе с отстраненным летчиком. Быть бы и окруженцам конченными в своем болоте, если бы не отчаянная, совсем уж невозможная храбрость Хайруллина, который, заливаясь кровью, один принял немецкое подкрепление на свой пулемет. Все это дело было совершеннейшим самоубийством, но, когда умирающему у него на руках Хайруллину Локотков это сказал, тот ответил:

- Пусть знает, сволочь, какой я пятьдесят восемь-десять.

- Кто? - спросил Иван Егорович, склоняясь в тоске к заливаемому смертной синевой лицу летчика. - Кто должен знать?

- Кто? Следователь мой...

Фамилию Иван Егорович уже не расслышал. А очень желал расслышать и запомнить, потому что понимал: придет время и не дрогнет его рука, когда вынесен будет справедливый приговор этим бабкиным внукам, позорящим звание "чекист", бабкиным внукам, один из которых мог измарать сотню честных и чистых духом людей.

Нет, не верить Локотков не мог!

В его вере поддержал Ивана Егоровича и старый Ряхичев.

И все же верить было совсем не так просто.

План операции похищения начальника разведывательно-диверсионной школы в Печках Иван Егорович разработал давно и со всеми подробностями. Некоторые детали он изменял, кое-что подвергал сомнению и перестраивал бессонными ночами, но одно было несомненно: риск. Риск человеческими жизнями, жизнями людей честных, отважных и чистых, риск такими людьми, которым Локотков доверял, как себе. Они еще ничего не знали, все те друзья-товарищи, которым

надлежало осуществить операцию, но он-то знал, что у них есть и жены, и дети, и матери, и отцы. Он знал, как бесславно и жестоко могут они погибнуть, если "его" человек их предаст. Он-то знал, каким пыткам их подвергнут, если операция сорвется, да и свою судьбу он тоже предугадывал: сам Петушков со своими поддужными не оставит Ивана Егоровича милостивым вниманием, по первому классу будут его судить, и непременно осудят. Будучи, хоть по малости, юристом, Иван Егорович отлично знал, как судят, когда господствует формула "Пусть докажет свою невиновность". Вот и доказывай, что хотел как лучше, верил человеку...

- Верил?! - удивятся ему.

И не только он с боевыми своими друзьями расплатится за то, что поверил, расплатится и супруга, и даже сыны, несмотря на свое малолетство.

Так наступала петушковщина, а что делать? Что с ней, с проклятой, делать, какие от нее есть лекарства? Что сделать с собой, чтобы очистить мозги от приступов этой действительно болезни?

Если бы он сам был способен выполнить то задание, которое поручил Лазареву... Вот выход. Но Саша и поет, и мастер на все руки, и по-немецки знает, и связи там, конечно, имеет. Саша - проникнет.

А он?

Он сам, Локотков?

Он может только командовать прикрытием, руководить обеспечением максимальной безопасности этой операции, но какая, к черту, в таких делах безопасность?

Огонь на себя?

Красиво, да толку что? Что проку, когда их с возницей четверо, а в школе двести курсантов, да полсотни охраны, да ворота, да сигнализация, да проволока под током, да в километре батальон особых войск, которые обеспечивают безопасность фельдмаршала, когда тот приезжает охотиться...

Ночь была на исходе, когда Иван Егорович занялся подготовкой экипировки

Лазарева. Делал он эту работу сам, ни на кого решительно не полагаясь не из природной недоверчивости, а лишь потому, что был в таких делах абсолютно педантичным, считая, что самая мелочная ошибка может погубить большое задание и людей обречь на смерть из-за рассеянности и совершенного пустяка.

В маленьком партизанском вещевом складе он долго рылся, навывбирал разного и отнес к себе, а у себя уже, запершись, из отобранного повыдергивал брюки полугалифе, бельишко, кирзовые побитые сапоги, отыскал пиджак москвошвеевского происхождения, выпущенный притом не ранее сорокового года и не позже сорок первого. Был и свитерочек поношенный, со штопкой.

Потом Локотков занялся документами.

Это уже была большая работа, требующая не только умения, но и знаний, и расчетливой аккуратности по той причине, что чистые немецкие бланки на полу не валялись и представляли собой огромную, ничем не выразимую ценность для разведчиков. Шли эти бланки разве что по цене человеческих жизней, и потому при заполнении их ошибиться было никак нельзя.

Лазарев в бумагах, изготовленных Локотковым, сделался Лизаревым, чтобы спросонья при проверке не оплошал; имя с отчеством Локотков ему сохранил прежние; на чистых драгоценных немецких бланках было тоже кое-что Иваном Егоровичем изображено; от усердия и мелкости работы Локотков даже взмок. Затем отсчитал он из казны сколько-то немецких марок и сколько-то советских сотенных, отметив дотошно в своем секретном талмуде сумму. Погодя пробежал усталыми глазами перечень дел по лазаревскому заданию, аккуратно сжег бумажку в печурке и занялся опять с утра надолго с Сашей и опять ни словом единым не обмолвился обо всей совокупной сути задания. О покраже начальника разведывательно-диверсионной школы майора Хорвата Лазарев должен был узнать через связного, совсем незадолго до самой операции, по плану - за сутки.

## **ГЛАВА ВОСЬМАЯ**



Встреча была назначена на военном кладбище в Риге седьмого августа сорок третьего года, в восемнадцать часов. Швейцарский подданный запаздывал, и Грейфе, похаживая между рядами бетонированных могил, раздражался. В сорок втором швейцарец не осмелился бы опоздать, более того, он бы явился раньше. Впрочем, теперь это не имело значения, лишь бы в конце концов пришел.

И он пришел почти на двадцать минут позже назначенного времени. Высокий, костистый, злой. Не посчитав нужным извиниться, он обругал порядки в Риге. По его словам, трамваи едва ходили. И вообще тут делалось черт знает что, в далеком от фронта тыловом городе ни за какие деньги невозможно нанять такси. А рестораны? Он совершенно не в состоянии есть в этом городе, издавна знаменитом своей кухней. На чем они теперь жарят? Изжога просто извела швейцарца!

Они оба были в штатском - и оберштурмбанфюрер доктор Грейфе и швейцарский гражданин с отнюдь не швейцарским именем Мэлвин Дж. Стайн. Только Грейфе был одет похуже - в светло-сиреневом костюме моды весны тридцать девятого года; на швейцарце же был великолепный твидовый пиджак, светлые брюки и башмаки фасона "мокасины моего деда" - очень дорогие; доктор Грейфе знал и магазин в Нью-Йорке, в котором торгуют всякой эдакой ерундой за бешеные деньги. Что ж! Кому повезло в игре, у того не спрашивают, как он начал...

Начальник группы "VI.C" усмехнулся своим мыслям. Неужели швейцарец будет молчать до тех пор, пока Грейфе сам не предложит свой товар? Неужели до этого дошла их самоуверенность? Неужели, с точки зрения их разведки, война выиграна одними русскими до открытия второго фронта? Нет, к счастью, начал Мэлвин Дж. Стайн.

- У вас их много? - спросил он без всяких околичностей.

- Кого их? - попробовал притвориться недоумевающим Грейфе.

- Вы понимаете.

- Нет.

- Речь идет только об агентуре, заброшенной на длительное оседание.

Другой товар меня не интересует.

- Вы желали бы знать общее число?

- На это вы мне не ответите, а если и ответите, то только частью правды. Вы, по всей вероятности, уверены, что для такого рода информации еще не наступило время. Ваше право - так думать. Но мое право - знать количество единиц, которыми вы располагаете сегодня, сейчас...

- Лично я?

Грейфе тянул время. Мэлвин Дж. Стайн желал знать бесплатно то, что стоило денег. Лгать же было бессмысленно: швейцарский гражданин был, несомненно, человеком осведомленным.

- Лично я сейчас не могу вам ответить на ваш вопрос даже приблизительно. Я не готов.

Швейцарец усмехнулся.

- Допустим, - сказал он, весело глядя на оберштурмбанфюрера. - Ну, а качество подготовки этих ваших агентов? Это серьезные ребята? На них вполне можно будет положиться? Если мы приобретем у вас вашу агентуру, то мы должны знать ее качественный состав, степень ее подготовленности, сумму знаний; мы не можем платить за kota в мешке, вернее, за список кличек. В этом-то вопросе, надеюсь, вы осведомлены?

- Сядем! - предложил Грейфе.

Скамья была ветхая, подгнившая, но выдержала их обоих. Швейцарец вытянул бесконечно длинные ноги и набил трубку голландским темным табаком. Немец обрезал сигарку.

- Меня не имеет смысла стесняться, - произнес Дж. Стайн. - Я свой человек. Если бы ваша доктрина осуществлялась менее истерическими способами и если бы не авантюристические склонности некоторых лиц, которых я не хочу

называть, такие парни, как я, были бы с вами. Но теперь, когда ваше дело проиграно, у нас свои планы. Наиболее деловитых ребят из вашего состава мы заберем к себе. И вам будет у нас недурно, а главное - безопасно...

Грейфе немного коробил стиль этого швейцарца. Он не привык к словам "ребята", "парни", "кот в мешке", "вам будет недурно". Язык официантов или грузчиков. Классический национал-социализм был более всего приучен к патетике. Впрочем, рассказывают, что сейчас сам фюрер ругается непристойными словами даже в своем кабинете...

Грейфе вздохнул.

- Что вы называете недурно?

- Прежде всего, с получением иного гражданства и нового имени будет забыто ваше прошлое.

- Кто это гарантирует?

- Мы.

- А кто, собственно, вы?

- Для того чтобы меня понять, не требуется особая проницательность, мистер Грейфе.

- Понимать-то я вас вполне понимаю, но наше взаимопонимание еще ничего мне не гарантирует.

Мэлвин Дж. Стайн широко и дружески улыбнулся. Так, улыбаясь, они обычно хлопают собеседника по плечу. Но швейцарец не хлопнул Грейфе. Он спросил, глядя в него своими светло-табачными зрачками:

- Сначала товар, старина. А потом уже гарантии. Как они обучены, эти ваши мальчишки? И бога ради, перестаньте кокетничать, я достаточно много знаю для того, чтобы не терять времени для уговоров. Мне нужен ваш контингент с подробностями, понимаете? Если специальный курс для длительного оседания занимает у вас всего полтора месяца, то это слабая подготовка...

- Гораздо больше! - быстро солгал Грейфе.

- Вы убеждены?

Оберштурмбанфюрер сделал лицо слегка обиженного человека. Это ему легко удалось: в те дни, когда он с утра не начинал принимать свой серый порошок, брюзгливое настроение не оставляло его. Нынче на всякий случай, чтобы вполне и во всем отвечать за себя, он пил только бразильский кофе. И потому настроение у него было отвратительное.

- У меня есть приятель среди ваших ребят, - медленно начал швейцарец, - не знаю, есть ли еще и сейчас, но во всяком случае был. Тогда вы готовили свою агентуру вполне ответственно и серьезно. А сейчас вы начали торопиться. Вам это не кажется, мистер Грейфе? Вы стали более заниматься количеством, нежели качеством, я ведь внимательно ко всему приглядываюсь, такая уж у меня служба...

Он сильно прижал табак в трубке большим пальцем и несколько раз пыхнул душистым дымом.

- Может быть, этот мой друг в Англии, а может быть, тамошний судья уже успел надеть на себя черную шапочку и моего приятеля повесили в Пентонвильской тюрьме: ваших парней англичане больше всего вешают именно там. Вот его готовили серьезно, ничего не скажешь...

- Я не знаю, о какой именно подготовке идет речь, - с некоторым раздражением произнес Грейфе. - Может быть, вы будете так любезны и расскажете суть этой подготовки?

- Буду. Расскажу, - пообещал швейцарец и еще немножко попыхтел трубкой. - Правда, это было в конце сорок первого, вы еще тогда не так завязли в России и могли себе позволять некоторую роскошь...

"А если я тебя увезу в гестапо, - подумал вдруг Грейфе. - А там быстро выяснят, какой именно страны ты подданный! Впрочем, вряд ли они станут выяснять. Просто все мое уйдет к ним. Он предложит им то, что должно принадлежать по праву мне".

И не в силах более сопротивляться своему недугу, Грейфе вынул из жилетного кармана порошок.

- Что это? - осведомился швейцарец.

- Вульгарная язва, - ответил оберштурмбанфюрер. - Вы сами ругали стол в Риге.

Через несколько минут глаза его заблестели, а через четверть часа швейцарца слушал не скучный Грейфе, а вдохновенный Лойола.

- И дальше? - спросил Лойола.

- Он дал обязательство забыть о существовании своей семьи. Навсегда. Вернее, до тех пор, пока ему не напомнят об этом, то есть тогда, когда его служба окончится. Затем наступил ряд решающих испытаний. Первое, я помню, заключалось в том, что он должен был приехать из Гамбурга в Штутгарт без единого документа. Это в вашей-то нацистской Германии, где шага не ступишь без проверки документов. Кроме того, во Франкфурте, в вокзальном ресторане, ему надлежало вывинтить электрическую лампочку из бра на, допустим, третьем столике справа от входной двери.

- И это, конечно, было выполнено?

- Представьте себе, было. Затем в школе в Штутгарте он на протяжении еще двух месяцев не знал, что это за школа и кого, вернее, для чего в ней учат. Два месяца мой друг подвергался не столько экзаменам, сколько экспериментам, выдержит он эту дьявольскую нагрузку или надорвется. Вообще-то, ничего особенного: например, подъем по тревоге, конечно ночью, бег в кромешной тьме к шумящему морю и приказ прыгать вниз. Вниз - вероятно, с огромной вышины в штормовые волны...

- Старые приемы, - перебил Грейфе, - еще в бытность мою...

- Не мешайте, - грубо и властно приказал швейцарец. - Бытность ваша тут ни при чем. Из тридцати парней по первой команде не прыгнули двое, они были отчислены, так и не зная, к чему их готовили. А другие прыгнули, над морем была еще терраса всего в метре от обрыва. Помнится, мой приятель называл эту систему школой немецкого мужества по методу Опладена. Так?

- Так, - кивнул Грейфе, - мы изучаем ее.

- Теоретическое изучение не стоит ничего, - произнес швейцарец, - я вам рассказываю практику. Наутро, опять по сигналу тревоги, их уложили на плац группами по девять-десять человек. В центры воображаемых кругов диаметром не более четырех метров устанавливались гранаты. Затем команда: выдернуть предохранительную чеку! Взрыв, осколки летят над испытуемыми...

- Разумеется, не все, но многое, - начал было Грейфе, - многое из школы немецкого мужества мы используем, конечно обогатив опытом войны. Наша агентура, предназначенная на длительное оседание, вербуются из ярых врагов системы Советского государства. Кроме того, они все абсолютно скомпрометированы своими поступками перед советским строем - здесь, за время пленения. Мы храним их фотографии, как они расстреливают своих же сотоварищей, как они выламывают золотые зубы своим жертвам...

- Вашим, вашим жертвам, - с усмешкой поправил Грейфе Мэлвин Дж. Стайн.  
- Здесь надо быть точным. Впрочем, все это элементарно. Ну что ж, будем откровенны, Грейфе. - Он уже не добавил "мистер", он стал разговаривать с оберштурмбанфюрером, как со своим секретарем или, того хуже, лакеем. - Будем откровенны. Ваша агентура сейчас не такого уж качества, какой вы готовили ее раньше. Один только страх перед возмездием - этого же мало, старина, неужели вам это нужно объяснять? Половину, нет, что половину, две трети ваших агентов мы можем списать сейчас же. В самом лучшем случае остается треть. Треть посредственных работников, жалких убийц, не имеющих никакой руководящей идеи. Три десятка из сотни.

- Но, мистер Стайн, - оскорбился было Грейфе.

- Так почему же они у вас ценятся? - словно не заметив блестящих значков Лойолы, деловой скороговоркой осведомился швейцарец. - Почему за десяток, за дюжину, за штуку, как мы будем договариваться?

Где-то совсем близко, за их спинами, хрустнула сухая ветка, Грейфе обернулся и узнал своего шофера Зонненберга. Тот прогуливался, напевая:

Лотхен, Лотхен, ты стрела в моем сердце,

Лотхен, Лотхен, воют метели в России...

- Хорошо, - вставая, произнес Грейфе, - мы еще увидимся...

- Только не вздумайте меня пугать, старина, - оставаясь сидеть и еще сильнее вытянув ноги, ответил Мэлвин Дж. Стайн. - Если вы забудете, что у нас с вами джентльменское соглашение, я пожалуюсь кое-кому в Берлине. У меня есть связи, как это ни странно. Не правда ли, это странно? И если они будут пущены в ход, вам не сдобровать. В вашей симпатичной стране головы летят довольно быстро, не так ли?

Протянув Грейфе руку, он спросил на прощание:

- А как этот русский генерал-чекист Локоткофф? В прошлый раз вы говорили, что с ним покончено. Это подтвердилось?

- Нет, - жестко ответил Грейфе, - впрочем, я ничего еще не знаю. Тут не так просто, мистер Стайн, тут совсем не так просто, как это может показаться гражданину невоющего государства, вроде Швейцарии. Некоторые американцы это хорошо знают на своей шкуре, некоторые господа в годах. Была такая авантюра в Сибири, и генерал Грэвс, мистер Грэвс, ею командовал. Это было, как принято выражаться, еще у колыбели Советской власти. Но и тогда, даже тогда американцы поняли, что это такое - пытаться завоевать Россию.

- Трудно? - захохотал швейцарец. - Очень трудно? Но ведь вы изучили ошибки этих глупых янки? Вы-то воюете иначе?

Так под смех швейцарца Грейфе и ушел.

- Чем скорее, тем лучше, - в спину ему произнес Мэлвин Дж. Стайн. - Я буду тут после Нового года, не позже. К этому времени товар будет готов, не правда ли?

- Хайль Гитлер! - повернувшись к швейцарцу, произнес Грейфе.

- Хайль-хайль, - с усмешкой ответил тот, - я приеду и отыщу вас. Если вы будете еще здесь.

- А где же? - сурово спросил оберштурмбанфюрер. - Где же мне быть?  
- Бог мой, восточнее! - воскликнул швейцарский подданный. - Разумеется, восточнее. "Цеппелин" работает на Россию, значит, его место в Москве...

На этом они расстались.

Садясь в машину, Грейфе обтер платком лоб. Зонненберг на него внимательно посмотрел, пожалуй, внимательнее, чем обычно.

- В Ассари! - сказал ему шеф. - И не таскайтесь за мной следом, когда вас об этом не просят.

- Господин оберштурмбанфюрер забыл, что я и охраняю вас в тех случаях, когда вас не сопровождают автоматчики, - сказал шофер. - Это входит в мои прямые обязанности. Я несу за вас ответственность.

Грейфе вдруг почувствовал усталость. Ужасную усталость. Серый порошок отработал свое. Теперь следовала расплата... или еще порошок...

## **ГЛАВА ДЕВЯТАЯ**

С террористами - Ионовым и его лампадными мужичками Серым и Козачковым в дальнейшем занимался Игорь. Ивану Егоровичу было неловко самому расследовать эту дурацкую, с его точки зрения, затею.

Был и смех и грех.

Однажды во время разговора Игоря с Ионовым в землянку чекистов заглянул бородатый и косматый партизанский дед Трофим. Понадобился ему начальник за каким-то охотничьим советом. Ионов, завидев деда, посерел лицом и отпрянул подальше, почти вдавился спиной в песчаную стену землянки.

- Вроде, здоровенный лось ходит, - сказал дед Трофим. - И сердитого нраву, не то что здешние лесные коровы. Собраться бы - застрелить... Польза хорошая, мясо дюже жирное...



- Ладно, потом зайдете, - ответил Игорь.

Когда дед ушел, Ионов произнес испуганным голосом:

- Он. Точно он.

- Кто он?

- Генерал Локотков. Его именно так господин Грейфе описывал. Борода с едва заметной проседью, шевелюра густая, говорит просто...

Игорь, с трудом подавив улыбку, стал записывать протокол дальше. Было ясно, в "Цепелине" ничего толком про Ивана Егоровича не знали, а если там и опрашивали пленных, то те выдумали им бородатого и косматого генерала.

- Да ну их к лешему, - добродушно отозвался Иван Егорович, когда Игорь рассказал ему комическое происшествие с дедом Трофимом, - давай, Игорешка, отправляй их на Большую землю. У нас тут дела поважнее есть...

И подарил своему заместителю пачку папирос "Северная Пальмира" из посылки, которую получил от Ряхичева. Подарил еще и новомодный целлулоидовый подворотничок, второй же оставил для Лазарева: пусть походит последние дни здесь франтом. Ему он тоже дал пачку "Северной Пальмиры", а Инге подарил полученный от Виктора Аркадьевича одеколон "Мои грезы" и плитку шоколаду: будет прогуливаться с Сашей, погрызет.

Но Саша подворотничок не подшил, папиросу не закурил, спрятал и то и другое, по его словам, на потом. Разжившись у подрывников трофейной гитарой, пел полюбившийся ему в эти дни чувствительный романс:

Там под черной сосной,

Под шумящей волной,

Друга спать навсегда положите...

И после бурного аккорда переходил к совсем уж рвущим душу словам:

Он взглянул потухающим взором

На дышащие негой леса,  
А в пространстве высот кругозором  
Там сияли над ним небеса...

Пел он, что называется, сквозь слезы, но все-таки казалось, что Саша подсмеивается и над чувствительными словами, и над рыдающей музыкой, и над своими угрюмыми и томящимися слушателями:

Он сказал с нап-р-р-ряженным усилием.  
Обращаясь к пер-р-р-натым певцам:  
"Наслаждайтесь свободой, весельем,  
Я же скоро уйду к праотцам..."

- Репертуарчик бы надо освежить, - сказал дед Трофим, - к нам какие-никакие эстраднижки приезжали, а такую муру никто не пел... Впрочем, один прибыл перед войной незадолго, так по нем так областной орган печати дал, что даже слишком резко, вроде "разнузданное мещанство"!

- Пой, Александр, не слушай деда, - велел Златоустов, - он чересчур в искусстве силен. После войны руководить всем пением станет, а пока наша власть.

Вечером, попозже, Лазарев сидел с Ингой на крыльце и рассказывал ей негромко, словно стесняясь:

- Что били, это пустяки, это перенести можно: только у них другие ухищрения имелись, это я, правда, не видел, это мне рассказывали ребята наши. Вот дело нужно слепить - групповой побег. Или подпольная организация нащупана, а выловить-ликвидировать не могут, никто имен не называет. Тогда из другого лагеря привозят жену и сынишку. И вот сынишку и жену пытаются всякими пытками на глазах у мужа и отца, который знает имена и не называет.

- Ладно, перестаньте, - попросила Инга.

- Для нервных неприятно, что говорить, - согласился Лазарев, и глаза его вдруг блеснули во тьме. - И больше того, Инга, минует война, справят люди День Победы с вином и закуской и постараются это дело начать забывать. Они все нервные, все с переживаниями. И даже еще так скажут: у этих самых палачей тоже жены с детьми имелись, если бы они своего оберфюрера или кого там не слушались, и их бы в газовые камеры согнали. Один у нас в лагере был, такой кроткий житель-проживатель, утверждал, что надо понять, а тогда можно и простить. А ежели я, некто Лазарев Александр Иванович, понять не желаю, тогда как? Не знаю, какие у вас взгляды, но я так рассуждаю: всех их, которые к делу пыток и этих ужасов были причастны хоть боком, надо уничтожить, чтобы никогда никому больше такое неповадно было...

Она положила теплую руку на его запястье, он посмотрел на Ингу сбоку, словно удивился, кто это рядом с ним сидит, и попросил, вставая:

- Извините!

- Куда вы?! - удивилась Инга. - Рано еще.

- Худо мне с людьми, Инга, - пожаловался он, - не могу ничего не делать, ожидать: слишком, видно, долго ожидал...

- А один вы разве не ждете? - спросила Шанина. - Ведь вы же думаете?

- Раньше думал, теперь бросил, - с коротким вздохом произнес Саша. -

Только маюсь, и ровно ничего больше...

Недели две он скрывался. Локотков сказал Инге очень нехотя, что Саша "на дальней базе". Потом она увидела его, за это время он отрастил себе полубакенбардики и усишки фасонной формы, отчего лицо его приобрело мерзейшее выражение уездного кавалера и души общества конца прошлого века.

- Для чего это вы? - удивилась Шанина, и в голосе ее Саше почудилась обида.

- А разве не идет?

- Вы думаете, идет?

- Уверен даже, - сладко улыбаясь, ответил Лазарев. - Любая дамочка с

ума сойдет...

- Я не знала, что вы просто пошляк! - удивилась Инга, и губы ее дрогнули, словно она собиралась заплакать.

- Пошляк-пошляковский, - совсем засиял белыми зубами Саша. - В жизни живем мы только раз...

Когда Инга ушла, Локотков сказал:

- Для чего огорчил человека?

- А разве огорчил? - обеспокоился Лазарев.

Новая внешность Лазарева заставила Ивана Егоровича изменить ему биографию: теперь он сделался ленинградским торговым работником, судимым в Токсово за крупную недостачу в хозяйственном магазине. В лагере же, отбывая заключение, он научился шоферить. Происхождение - из рабочих, бывший член ВЛКСМ.

И эту легенду, а также все подробности, с ней связанные, Саша запомнил к утру. На рассвете Иван Егорович заговорил с Сашей об одноногом матросе. Лазарев слушал внимательно.

- Посетишь его. Он разговаривать будет скрытно, очень даже, возможно, резко. Ты не сдавайся и вдруг скажи фамилию Недоедов. От Недоедова ты. И еще скажи: с полиграфическим приветом.

- С полиграфическим приветом, - повторил Лазарев.

- Недоедов.

- Недоедов, запомнил.

- Ошибиться нельзя. Матрос этого не любит.

- А как отыщу?

- Помогут. Из Лопатихи доведут.

- Это с ума сойти, какая у вас организация! - восхищенно сказал Саша. -

Все насквозь пронизано.

Локотков промолчал: говорить ему не хотелось и на душе было скверновато. Если бы Лазарев хоть немного страшился грядущего, Иван Егорович

чувствовал бы себя лучше. А он готовился к уходу, как к празднику. Что же это? Служит им или вправду так чист сердцем и бесстрашен?

Отпустить или погодить?

В молчании они посидели, покурили табаку из лазаревского кисета, теперь Саша угостил Ивана Егоровича.

- Ну, что ж, - сказал Локотков, поднимаясь.

Встал и Саша.

- Желаю удачи! - произнес Локотков. - Действуй, Александр Иванович.

Саша не ответил. Из землянки они вышли вместе, бок о бок зашагали по базе. И тут Иван Егорович плечом ощутил, как вздрагивает Лазарев, и тотчас же понял: волнуется. Очень волнуется. И не будущего он боится, а чувствует это последнее перед расставанием недоверие. Тогда, придерживав Лазарева плечом, Локотков сказал негромко, но так, что Лазарев расслышал каждое его слово, каждое, бесконечно нужное ему сейчас слово:

- Будь здоров, товарищ лейтенант!

Лазарев коротко вздохнул. Его горячая рука была крепко стиснута огромной рукой Локоткова. Было так темно, что они не видели даже лиц друг друга, и такая тишина стояла, что оба слышали чистый и тихий шелест густо падающего сухого снега. И наверное, это было очень хорошо - и тишина, и тьма, и снег, потому что иначе Лазарев бы не выдержал. Ведь ему сейчас, сию секунду вернули звание, его воинское звание, он знал уже: не такой мужик Локотков, чтобы оговориться, он не оговорился, он вернул Лазареву его честь, чтобы тот шел выполнять свою воинскую работу, как положено солдату, военному человеку, воину.

Так постояли они во тьме, в чистоте и в тишине недолго; потом каждый зашагал в свою сторону - Иван Егорович к Дворищам, а Лазарев через многие километры к селу, на далекое собачье тьяканье, туда, где фашисты играли на губных гармониках, где они пели баварские, или мюнхенские, или берлинские песни, жарили на свой манер гусей, стряпали свою любимую кровяную колбасу...

Эту ночь Локотков проспал спокойно, а вскорости начали поступать сведения от связных, которые, не зная, зачем они это делают, проверяли и перепроверяли поведение Лазарева на территории, временно оккупированной немецкими захватчиками.

Первое сообщение Иван Егорович получил из Пскова. Разведчица Г. сообщила оттуда, что "Л. вел себя вне всяких подозрений", "ни в какие помещения" не заходил, "кроме назначенного", после чего посетил рынок, где купил табак, молока и бутылку водки; молоко выпил, закурил, а водку спрятал, с чем и отправился на вокзал, где находились в большом количестве мирные жители, угоняемые немцами на Запад. На станции "Л. познакомился с девушкой, а 27 октября вместе с ней сел в вагон и выбыл из Пскова в направлении Эстонии".

Читая это сообщение, Локотков невесело усмехался. Ему было неприятно, что он проверяет Лазарева так дотошно, но иначе поступить он не мог. Если бы риску подверглась его жизнь, он бы, конечно, не стал устраивать Лазареву эдакое вокзальное знакомство, но некоторое время он был обязан "пасти" Лазарева, чтобы убедиться наверняка в его верности и преданности делу...

Несколько позже прибыла бумага о том, как Лазарев достиг Пскова. Как и было намечено заранее, Саша останавливался дважды - в Козловичах и Лопатихе. В Псков он вошел спокойно, никто его не задерживал. Документы, видимо, в полном порядке, потому что на немецком КПК Лазарев был пропущен быстро, без осложнений.

Вскорости к Ивану Егоровичу заявила разведчица. Олена и была той девушкой, с которой Лазарев "вместе сел в вагон и выбыл из Пскова в направлении Эстонии". Ее всю трясло: она попала в перестрелку между карателями и группой подрывников, "набралась страху", по ее словам, - и доложила, что Лазарев - "продажный гад".

Локотков вопросительно на нее глядел.

- И недели у эстонцев не батрачил, - быстро тараторила Олена, - пошел

перед фрицами хвостом вертеть. Там, в Печках, у фрицев училище или чего такое, забор высоченный, не углядишь, и с дороги прогоняют. Он в эту школу и наладился. Я ишачу на кулаков, я дня-ночи не вижу, а он ручкой мне помахал и назавтра уже в лягушачьей форме. В охранники заделался лагерные.

- Сволочь! - веселым басом сказал Локотков.

- Гад продажный! - блестя глазами, повторила Олена. - И не стыдится.

Довольный, аж прямо сияет. Пистолет при нем, усы закручены, фуражка немецкая с долгим козырьком - разжился, сатана хитрая, шоколадки для угощения по карманам распихнуты. Конечно, ему житье разлюли-малина. Даже песни поет.

- Да что ты! - удивился Локотков.

- Точно говорю! Что ни день, то он с ними дружнее. Они в Халаханью шастают на учение, курсанты эти, изменники, и он при них. Давеча, сама видела, яблоки моченые повез начальнику, целый бочонок.

- Ничего, рассчитаемся, - деловито посулил Локотков, впрочем без всякого гнева. - Будет и на нашей улице праздник - повесим гада!

Потом заглянула к Локоткову Инга, совсем тихая, молчаливая. Она ни о чем не спрашивала, догадывалась: Лазарев ушел на задание. Исполнилось то, о чем он так мучительно, так жадно мечтал, он делает дело. Но где? Какое? Инга не спрашивала, знала: все равно ответа не будет.

Впрочем, в бригаде вообще было не положено спрашивать, кто где.

Потом надолго наступило в новостях затишье.

Иван Егорович ходил с подрывниками на железную дорогу, побывал два раза в Пскове под видом заики-полудурка, встречался со своими людьми, изготавливал документы, нужные для дела, затем долго охотился за провокатором Пучеком - чудовищным выродком, давно запродавшимся немцам...

Этот Пучек снабжал желающих уйти к партизанам винтовками со спиленными бойками для того, чтобы немцы забирали этих людей "с оружием в руках". Он же выдал жандармерии двух немецких солдат за то, что они "давали слушать русское радио местным обывателям". Солдат увезли, а обывателей постреляли

без суда.

Пучек был казнен. Потом Локотков с Игорем зажали в погребу группу карателей и рванули их там гранатой; в общем, без дела не сидел, но думал все время о своем Лазареве. Наконец тринадцатого декабря, то есть за семнадцать дней до намеченного срока, разведчица, именуемая Е., доставила записку, датированную еще серединой ноября: "Намеченной цели достиг, ваше задание выполнено полностью, прилагаю схему постов "Ш", а также фамилии и их установочные данные. Жду ваших указаний на дальнейшие действия".

Схема-план была точной, с приложением масштаба. Хорват и Лашков-Гурьянов жили в отдельных коттеджах на территории школы, расстояние между домиками - 300 метров, охраны особой нет, обслуживаются вестовыми, место проживания вестовых обозначено синими квадратиками. Лашков и Хорват имеют верховых лошадей - конюшня обозначена синим треугольником. Посты охраны территории школы обозначены...

Е. хлебала суп из пшенички. Над партизанскими Дворищами в студеном зимнем небе крутился "хейнкель", никак не мог точно засечь партизан.

Локотков писал Лазареву, шепотом диктуя себе:

"...какая будет операция, известим впоследствии. Однако же в назначенную для нее ночь ответственным дежурным по школе надлежит быть вам, а заместителем - человеку, который вам известен и несомненно вашим приказам подчинится. Во время этого ответственного дежурства вы должны знать точно, где находится личный состав школы, а также его руководящие лица, как охраняется территория школы и кто послан на посты охраны. К моменту подхода к школе наших людей вы должны находиться в караульном помещении и исполнять свои обязанности, ваш же заместитель должен отдыхать..."

Е. доела холодный суп и попросила закурить.

- Иначе засну, - пригрозила она. - Устала я до безумия.

- А ты поспи, девушка, - посоветовал Иван Егорович, - обувку скинь и

приляг под тулуп. Я писатель замедленный, мне писание таких бумаг соленым



потом дается.

Разведчица заснула быстро и во сне сразу заплакала. А Локотков все писал и писал:

"Вы будете должны создать перед своим замом по охране видимость вызова по телефону, если тот будет крепко спать в то время, которое вам назначат позвонить по телефону. Разговора ни с кем вести не нужно, а когда будет звонок-отбой при нажатом контакте, вы должны создать видимость беседы с начальником школы и якобы повторить его распоряжения, сводящиеся к тому, чтобы подать к дому Хорвата упряжку лошадей. После этого вы выходите из помещения, но предварительно пробуждаете..."

Тут Локотков подумал и переправил "пробуждаете" на "будите". Но и это ему не понравилось, тогда он написал "разбуживаете".

"...предварительно разбуживаете своего зама и, передав ему приказание Хорвата, запрягаете двух коней и выезжаете из территории школы для встречи трех наших представителей, которые произносят вам условный пароль. Офицеры эти будут в форме гестапо. Вы въезжаете с ними в ворота и выполняете их приказания. После завершения операции вы следуете вместе с вышеуказанными офицерами в назначенное ими место".

Перебелив письмо и оформив его, как было условлено с Лазаревым, Локотков разбудил разведчицу, порасспрашивал ее по интересующим вопросам и проводил своей тропкой к особо секретному выходу из лагеря, откуда провожать ее вышел Игорь. Е. благополучно добралась до Печек и уже через неделю доставила ответ от Саши. В этот раз она пришла совсем замученная, до того, что Иван Егорович сразу сдал ее доктору Знаменскому на особое питание и с надеждой, что Павел Петрович хоть какие-никакие "укольчики" сделает разведчице, потому что ее и ноги не держали, и плакала она по пустякам, и дергалась, словно контуженная.

- Водочки ей надо выпить, - угрюмо сказал Знаменский. - В общем, сделаем.

На этот раз Саша писал так:

"Согласно вашему заданию, полученному мною от девушки 17 декабря ночью, будет, конечно, сделано все. Прилагаю декадный пароль, список руководящих лиц школы и др. В настоящий период вхожу в авторитет у командования, назначен командиром взвода охраны школы, имею обильные знакомства. Во мне прошу не сомневаться. С приветом, ваш Л."

Пока Е. спала в новом партизанском госпитале, Иван Егорович опять писал свое письмо-инструкцию Лазареву. Здесь уже было сказано без обиняков, какая именно предстоит операция, и было еще назначено время в ночь на первое января 1944 года. В эту бесшабашную и гулливую пору Лазареву будет легче всего заменить какого-либо начальника караула по-товарищески, да и авось многие будут в подпитии, что, разумеется, поможет делу. Было в письме указано и место встречи с "офицерами гестапо", был и их пароль, было и задание Лазареву: обеспечить немецкий пароль на новогоднюю ночь. Оформлял письмо Локотков до утра и, провожая в этот студеной день разведчицу Е., сказал ей, что теперь они встретятся в сорока километрах от Печек, где Иван Егорович будет ждать девушку в условленном месте, потому что ей еще одну такую ходку не сдюжить.

- Так фрицы вас там переимут, - сказала Е., вскидывая на Локоткова печальный взгляд. - Это ж самое логово.

- Ничего, выгребусь, - спокойно ответил Локотков. - Я не раз бывал в логовах, друг-товарищ.

С этого самого двадцать первого декабря даже привычное для всех окружающих наружное спокойствие оставило Ивана Егоровича. То ли все пережитое в войне дало себя знать именно в эти дни, то ли Лазарев забрал у него изрядно душевных сил и уверенности в себе, то ли огромные, горестные и замученные тревогой глаза Инги довели его до предела своим постоянным выражением вопроса, но, в общем, Локотков сам заметил, что порою овладевает им то, что называл он про себя петушковщиной. Теперь он все время,

неотступно, и днем и ночью выверял предпринятые им действия, выверял и свои поступки и проверял сам - придирчиво, шаг за шагом, час за часом. Все будто бы получалось правильно, без просчетов и мельтешни, но и то, что получалось правильно, тоже тревожило Локоткова: ежели все больно ловко и складно, то еще раз следует выверить, потом поздно станет выправлять слабинку.

Самым трудным ему представлялось то обстоятельство, что он оказался в этом деле один, не мог решительно ни с кем посоветоваться, не мог ни у кого перепровериться. И спрашивал, и отвечал, и контролировал вопросы и ответы только он, никто больше.

Двадцать третьего были к нему доставлены "гестаповские офицеры" - два эстонца и латыш, немного знающие по-немецки, а главное, умеющие выглядеть "иностранцами". Эту пресвятую троицу Иван Егорович уже давно углядел в дальнем подразделении бригады, бывая там по служебной надобности, но совсем их не знал и только нынче познакомился. Латышу было под сорок, его звали товарищ Вицбул, а эстонцев звали: одного - Виллем, а другого - Иоханн. Все трое были тощие и измученные боями. Локотков сразу отвел своих гостей в госпиталь, где молчаливый Знаменский должен был в самый кратчайший срок "довести ребят до кондиции", то есть нагнать им жиру и представительности, чтобы "не гремели костями".

- Салом их кормить? - спросил Павел Петрович.

- А хоть бы и салом.

- Фрукты свежие давать?

- И фрукты можно! Не жалея друзьям-товарищам, доктор, ничего!

- А чашка крепкого бульона не подкрепила бы их силы? - книжным голосом осведомился Знаменский. - Так вы имейте в виду, Иван Егорович, я, кроме как мороженой картошкой и немецкими сардинами, ничем не располагаю.

- К утру все будет, - пообещал Локотков, - а пока не жалея, доктор, сардин. И чего еще в зашнике запряжено, не жалея. Подможем!

Он иногда любил так выражаться, Локотков, будто он закоснелый

доставала. И за ночь чекисты действительно спроворили поросенка. Будущие "гестаповцы" лежали в своей тихой и тайной палате и ели, словно работали, и спали-отсыпались, наверное, за всю войну так, будто трудились. Раз в сутки Локотков делал им инспекторский смотр и выговаривал вежливо:

- Слабо жиреете, господа гестаповцы. Щеки нужны, розовость, сытость во взгляде. Может, еще сардин желаете?

"Гестаповцы" желали всего и от обжорства нещадно маялись непривычными к богатой и жирной пище животами.

- Не мешайтесь вы в мою науку, - попросил как-то доктор Павел Петрович Локоткова. - С такой системочкой все прахом пойдет.

Еще "гестаповцы" репетировали свой не слишком хороший немецкий язык, и тут, к сожалению, Иван Егорович ни в чем не мог им помочь. Он лишь шпаргалку им русскую сочинил - тему будущей краткой беседы с начальником школы Хорватом. Написано это было так:

"Вы. Мы из гестапо. Вы господин Хорват?"

Он. Что-нибудь вам отвечает, вроде "так точно, Хорват".

Вы. Господин Хорват, вы арестованы органами СС. Предъявите ваше оружие.

Он. Вот, пожалуйста, мое оружие.

(А если он сопротивляется, то вы арестовываете его силой и забиваете ему в рот тряпку, чтобы не верещал. Потом забираете все, какие есть, документы и вместе с Хорватом доставляете в наше расположение. А если не сопротивляется и не скандалит, тогда беседа ваша продолжается.)

Вы. Где находятся ваши документы? Где находятся документы школы? Все ли это документы? Если вы подымете шум, мы вас уничтожим! Убьем! Застрелим! Вы будете убиты!"

Эстонцы благодушно репетировали, лежа на своих топчанах, Локотков требовал от них свирепости, достойной гестаповских деятелей. Латыш сказал:

- Сейчас мы выучиваем текст. А когда увидим этот сволочь, мы будем хорошо свирепые. Очень! Больше не надо! А сейчас мы еще не можем, мы не

видим объект. Тут все свои люди, тут теплый печка, тут трудно делать злобу.

Пожалуйста, именно так все будет...

- Нет, так дело не пойдет, - сказал Локотков, - опасуюсь я, друзья-товарищи, за ваш немецкий выговор. И сам не понимаю. Приведу вам девушку одну, она займется, это ее специальность, а ваше дело небольшое: подчиняться.

Инга, конечно, сразу догадалась, что эти люди будут связаны когда-либо с ее Лазаревым, но виду не подала и только все силы свои вкладывала в занятия, стараясь заставить "гестаповцев" правильно произносить те фразы, которые велел выучить Иван Егорович. Спросить, не понадобится ли в их обиходе еще что-нибудь, она, разумеется, не смела, только вдалбливала в свою "школу" назначенные слова с соответствующим произношением да курила беспрестанно, пользуясь тем, что "гестаповцев" табаком не обижали.

Локотков же, запершись в своей землянке, трудился лично и неустанно еще по одной линии: изготавливал будущим "деятелям СС" достойное их обмундирование, знаки различия, ордена, обувь, головные уборы, портсигар; даже голландские сигареты "Фифти-Фифти" у него были "засундучены", все у него, у хозяйственного чекиста, имелось, "каждой веревочке место", как любил говаривать Локотков, обследуя поле боя и насупив брови.

Еще в горячем октябрьском сражении, имевшем место на подступах к большому селу Жарки, аккуратный и умеющий думать далеко вперед, Иван Егорович, по словам комбрига, "солидно прибрахлился": снимал мундиры с офицерских трупов, а если мундир был уж слишком безнадежно окровавлен, он срезывал погоны, отвинчивал ордена, значки, забирал документы, знал, что придет такой час - сгодится амуниция. И верно, вышел час, теперь очень даже сгодилось.

На мундир товарища Вицбула Локотков укрепил два Железных креста, медаль "За зимовку в России", эстонцев награждал пожиже - по одному Железному кресту и медальки им дал какие-то, вроде латунные, так оно и следовало, если Вицбул

- майор, а Виллем и Иоханн - лейтенанты. Впрочем, Иоханн попозже сделался оберлейтенантом, по той причине, что погоны оберга оказались парными и почище. Все эти одежды и шинельки Локотков сам штопал, сам отпаривал, сам развешивал на самодельные распялки, чтобы не помять до назначенной минуты. И документы своим "фрицам" он изготовил - воинские офицерские книжки, командировочные предписания, еще какой-то листок с орлом и свастикой, на нем было написано об оказании содействия офицерам Грессе, Митгофу и фон Коллеру.

И оружием для "гестаповцев" Локотков занимался, и группу прикрытия инструктировал, и группу разведчиков. Все это было трудной работой, потому что само задание в его подробностях он не мог расшифровать своим людям, а они из-за этого обстоятельства действовали словно в потемках.

Поросенка "гестаповцы" прикончили без всяких видимых положительных результатов, съели, и вся недолга, на лицах это обстоятельство никак не отразилось. Немецкие сардины тоже не помогли потолстению. "Каким ты был, таким и остался", - произнес товарищ Вицбул, разглядывая себя в осколок зеркала.

Еще случилась мелкая неприятность с парикмахером. Для фасонной стрижки приглашен был дед Трофим, который, по его словам, работая в театре, немного подучился на театрального парикмахера, потому что рабочим сцены служить было "бесперспективно". Однако же, начав с товарища Вицбула, он потерпел полное поражение, и самому Локоткову пришлось голову Вицбула побрить бритвой наголо. На Иоханна ни одна фуражка не лезла - косматый дед Трофим и его измучил, и сам измучился, покуда не приостановил свои эксперименты на "бобрике", который назвал "а ля Капуль".

- В общем, давай выметайся отсюда, - вскипел Локотков, - тоже нашелся театральный парикмахер...

Виллем сам сделал себе короткие бакенбарды, Локотков подбрил ему шею. Накануне отправления "гестаповцев" посетил комбриг. Пришел вечером, посидел, помолчал. Латыш с эстонцами беседу не начинали: не болтливые были все трое.

Погодя комбриг сказал:

- Забирает мороз. К тридцати жмет.

Товарищ Вицбул ответил светским тоном:

- Зимой так бывает.

- Бывает даже больше, - поддержал Виллем.

- Хорошо, что нет ветер, - живо откликнулся Иоханн.

На этом беседа закончилась. Комбриг, выйдя из госпиталя, сказал

Локоткову:

- Ребята ничего, драться, если понадобится, будут. Ребята вполне крепкие, Иван Егорович, надежные...

- Сомневаться не приходится, - ответил Локотков.

Двадцать девятого декабря группа Ивана Егоровича выехала с главной партизанской базы на Ваулино, совсем недалеко от Печек. Сани долго путали следы, прежде чем, как говорят моряки, лечь на курс. Взвыла пурга. На "гестаповцах" еще были русские полушубки. Их немецкое трофейное обмундирование, отпаренное и отглаженное Иваном Егоровичем, было им же уложено в немецкий трофейный чемодан, на котором сидел сам Локотков. Эстонцы и латыш спали, как велел им доктор, - спать и осторожно кушать, как только представится такая возможность.

За "гестаповцами" и Локотковым на нескольких парах коней, в розвальнях, двигалась мощная группа прикрытия. Там пели "Перепелочку".

Ты ж моя, ты ж моя

Перепелочка...

В соломе угревались гранаты РГД, Ф-1 - свои, безотказные, привычные, под руками лежали автоматы.

Рядом с Игорем, глядя перед собой в белое марево метели широко открытыми, замученными глазами, сидела Инга. Игорь спал. Перед выездом

Локотков протянул своей переводчице автомат, сказал как бы невзначай:

- Возьми, товарищ Шанина, это - лазаревский, тот, из-за которого ты меня поедом ела...

Теперь Сашин автомат лежал на ее коленях.

...В то самое время, когда оперативники Ивана Егоровича втаскивали таинственный чемодан с обмундированием для "гестаповцев" в избу на окраине Ваулина, к школе в Печках подъехал "оппель-адмирал" доктора Грейфе. Шофер Зонненберг властно нажал на клаксон.

Командир взвода охраны разведывательно-диверсионной школы рубильником включил прожектор у ворот и, высветив сверкающим светом машину, нажал кнопку "Сбор по тревоге". Только тогда солдаты охраны, делая вид, что страшно торопятся, начали разводить створки ворот. Командир взвода знал службу - и шеф и Хорват должны быть им довольны в равной степени.

## **ГЛАВА ДЕСЯТАЯ**

За четыре дня до своего визита в Вафеншуле доктор Грейфе узнал, что его не то чтобы увольняют в отставку, но куда-то он будет непременно перемещен. Покойный начальник главного имперского управления безопасности Рейнгард Гейдрих не имел обыкновения увольнять - он уничтожал, и преемник его, Кальтенбруннер, поступал так же. Заменял же часто, "чтобы не насиживал гнездо и не выводил цыплят", как любили говорить приближенные главы СС и СД. Перемещения же, когда они проводились часто и поспешно, все-таки, как правило, предопределяли близкое и окончательное падение, и оберштурмбанфюрер, естественно, эти четыре дня пребывал в состоянии озабоченности.

Кого Берлин прочил на его место, доктор Грейфе, разумеется, не знал, но



кого бы ни назначили, разведывательно-диверсионные школы из цепких рук оберштурмбанфюрера явно ускользали, а именно в них содержалось и служебное, и материальное будущее доктора Грейфе, обладающего способностью смотреть вперед не только в смысле обеспечения своего существования награбленными ценностями, но и в смысле своей необходимости тем силам, которые после разгрома германской имперской машины несомненно будут испытывать острую нужду в людях, подобных Грейфе.

А оберштурмбанфюрер желал, чтобы в нем испытывали нужду, и сейчас предпринял инспекционную поездку по школам только затем, чтобы на местах ознакомиться с досье агентов, заброшенных в Советский Союз на длительное оседание. Эти агенты должны были стать в будущем его основным капиталом, его ценностью, гораздо более немеркнущей, нежели любые сокровища мира. Ими он и собирался козырнуть в то решающее мгновение, которое виделось ему через каких-либо два-три года, в час капитуляции и конца рейха.

Список заброшенных из Ваффеншуле был невелик, всего девятнадцать человек. Люди эти, с их подлинными фамилиями, кличками и явками, были поименованы на специальном листке; теперь же Грейфе хотел только поглубже разобраться в биографиях, чтобы в решающие для его второй карьеры часы, а эти часы уже наступили, предложить свой "товар" швейцарскому поданному, ожидающему доктора Грейфе в Риге. Мэлвин Дж. Стайн желал иметь к новому году полные списки агентурной сети в Советском Союзе, и тогда он бы поручился, по его собственным словам, за будущее нынешнего оберштурмбанфюрера Грейфе. В противном случае Мэлвин Дж. Стайн всякую ответственность с себя снимает.

Все это не слишком затрудняло Грейфе. Неприятно было только одно обстоятельство: швейцарский подданный, несомненно, не удовлетворится джентльменским соглашением. Ему понадобится официальный документ с печатью, но эти официальные документы в канцелярии "Цеппелина" оформлял ставленник еще Гейдриха - "гестапо в гестапо", как его именовали прочие, с которым доктор Грейфе не желал иметь никаких решительно дел, особенно на прощание.

И оберштурмбанфюрер, инспектируя в этот раз свои школы, оформлял списки школьными печатями. Разумеется, это была опасная игра, "гестапо в гестапо" мог об этом прониюхать, но у Грейфе был простой выход: зная наперед, что Кальтенбруннер его в ближайшее время не примет, как не принимал он никогда никого из смещаемых или перемещаемых, Грейфе всегда мог бы объяснить, что готовил эти заверенные списки для того, чтобы передать их лично начальнику главного имперского управления безопасности, будучи уверен, что они представляют собой интерес. В грядущую же эпоху "штурм унд дранг" - "бури и натиска" такие списки не смогут не заинтересовать даже самого Гимmlера.

С этими мыслями доктор Грейфе и прибыл в Печки.

Покуда шофер Зонненберг, знающий церемонии неожиданных наездов шефа в подведомственные ему учреждения, медленно разворачивал машину, дежурный по школе уже выскочил с горном на плац, и курсанты в своем французском обмундировании и чешских кепи построились для торжественной встречи. Хорват и Гурьянов с престарелым князем Голицыным и другими мелкими деятелями встретили доктора Грейфе на правом фланге, преподаватель строевой подготовки Митгофф отрапортовал о том, что положено, шеф молча его выслушал и, сопровождаемый начальником школы и его заместителем, пошел в коттедж Хорвата.

День выдался морозный, ясный, с одиноко падающими, медленными снежинками. Голубовато-серая стена курсантов не двигалась с места, оберштурмбанфюрер забыл разрешить им продолжать занятия. Впрочем, это не имело ни для них, ни для него ни малейшего значения. "Со временем или несколько позже разойдутся", - решил он.

- Господин доктор будет обедать? - забегаая за левое плечо Грейфе и проваливаясь в сугроб блестящими сапогами, спросил Хорват. - Или просто совсем легкие закуски и дичь? Есть превосходный тетерев.

Грейфе думал. Ему было приятно это движение возле плеча, это почти порхание и восторженный лепет интеллигентного Хорвата. А за спиной дышал

Гурьянов, сбивался, оторопел от страха, с ноги. Оба они не знали, зачем приехал шеф - карать или миловать, награждать или взыскивать.

- Дайте только птицу, - сказал доктор Грейфе. - И пусть мой шофер принесет чемодан из машины, мне надо переодеться, замерзли ноги.

Лашков-Гурьянов перестал дышать за спиной шефа: вернулся обратно выполнять приказание. А оберштурмбанфюрер СС Грейфе, не оборачиваясь, спросил в пустоту - Хорвата.

- Как он?

Хорват и услышал и понял:

- Предельно старателен. Очень надеется на офицерский чин. Все его будущее связано с величием Германии...

- Разве только его будущее? - сухо осведомился доктор Грейфе.

Пока Хорват сбивал для шефа коктейль (Грейфе долго жил в Америке и усвоил кое-какие тамошние обиходные обычаи), старательный шофер Макс согрел оберштурмбанфюреру домашние меховые туфли, а солдат-истопник набил камин сухими, смолистыми дровами. Грейфе сел в кресло, привезенное из Пскова и обтянутое немецким кретоном - желтое с синим, вытянул ноги к огню, принял из тонких пальцев Хорвата мартини, пригубил и сказал:

- Недурно.

Потом осведомился:

- Вы были когда-то барменом?

- Так точно, - слегка смутившись, ответил Хорват. - В тяжелые для Германии дни мне приходилось делать многое...

- Как и всем! - ответил шеф. - Как и всем или, во всяком случае, очень многим. Но это не повторится. Рейх никогда не забудет своих сынов, воевавших на Востоке, в этих проклятых местах...

Он еще отхлебнул и прислушался.

- У вас всегда так свистит ветер?

- Это с Псковского озера, - пояснил Хорват. - Не всегда, но часто.

- Вы берлинец?

- Так точно.

- Готовьтесь, Новый год вы будете встречать дома.

Хорват замер с открытым ртом. Грейфе, видимо, приехал миловать и награждать. Это первый отпуск за всю войну.

- Вы заслужили отдых, - со вздохом произнес шеф. - Мы все многое заслужили, не правда ли? И наши заслуги не забудутся, господин Хорват, нет, их оценят по достоинству еще при нашей жизни...

"Что с ним?" - подумал Хорват. Разве мог он когда-нибудь предположить, что сам оберштурмбанфюрер станет с ним разговаривать на короткой ноге? И так просто, так любезно, так по-дружески! "Впрочем, он мой гость!" - решил начальник Вафеншуле.

Разве могло прийти в голову Хорвату, что нынче он нужен шефу? Разве мог он вообразить, зачем шеф приехал в его богом забытые Печки? Разве мог он подумать, какую игру готовит господин доктор Грейфе?

Потом, когда пришел Лашков-Гурьянов, шеф стал их поить со всем присущим ему в этом деле искусством и опытом. У него был огромный опыт спаивания. Он умел делать вид, что напивается сам, и поить других смертно. Он умел даже напиваться и все-таки сохранять в голове все, что было нужно. Он поил болтунов в Бостоне и Филадельфии, в Торонто и Марселе, он напивал своими коктейлями двух нужных ему дураков в Вене до зеленого змия, он пил с испанцами и португальцами, с поляками и финнами еще в самом начале своей особой деятельности, и никто в нем не подозревал того, кем он был, все принимали будущего шефа "Цеппелина" за веселого малого, "совсем, совершенно, абсолютно не похожего на немца".

Он умел походить и не походить.

Он бывал легок и прямодушен, добр и щедр, сух и педантичен, он бывал таким, каким ему было нужно быть в данное время, в данной обстановке, среди данных людей.

Сейчас он был прост. Он был доступен и настроен дружески к этим простым ребятам, исполнителям, работникам, почти нижним чинам. Он ведь не в своем кабинете. Он у друзей по работе, так выразился Грейфе. И китель он нарочно снял, пусть они простят его, он сделал это, чтобы погоны не мешали дружеской беседе. И пусть господа Хорват и Гуринов... виноват, Гурьянов... пусть они перестанут вскакивать и тянуться. И пусть выпьют. Мы же тут свои, у себя дома, мы можем наконец отдохнуть!

Повар в парадном колпаке и в халате, взятом у фельдшера, принес глухаря и еще каких-то изрядно пережаренных птичек. Потом появились квашеная капуста с клюквой, соленые огурцы, салат из какой-то дряни. Но доктор Грейфе все ел и похваливал. И про воинские звания заговорил, про звания, которые они получают в самом начале нового года. Ему нечего было терять, и, наклонившись к Гурьянову, он сказал доверительно:

- Все документы подписаны, в этом я так же уверен, как в том, что доктор Грейфе - шеф "Цеппелина"... (Шефу не было чуждо чувство юмора.) В новом году вы, господа, несомненно начнете новую жизнь.

Он перешел на испанский коньяк и обильно наливал его Гурьянову и Хорвату. Глаза доктора Грейфе источали пламень. А может быть, это яркий огонь камина отражался в его зрачках?

Камин пылал, ветер с Псковского озера тугими ударами охлестывал коттедж, здесь было жарко, почти душно. Глухаря, на удивление Хорвату и Лашкову, шеф вдруг стал раздирать руками; это было очень странно при изысканности манер оберштурмбанфюрера - руки, отламывающие крылья, выворачивающие лапки, шею, руки, которыми он раздавал куски глухаря, и его короткий смех при этом, и какие-то цитаты о древних германцах и о том, как они ели. И серый порошок, которым закончилась трапеза.

- Язва, - сказал шеф, - язва желудка!

Зонненберг вновь был вызван сварить кофе.

- И принесите сыры, - велел Грейфе совсем пьяным голосом, - слышите,

вы, старый пройдоха!

Он был с ними предельно откровенен, Грейфе. Он даже сказал им, что его шофер пишет о нем сводки. Шофер получает специальные бланки.

- Этот дурак только не знает, что я тоже когда-то был шофером, - хохоча, сообщил Грейфе. - И бланки с тех пор изменились чуть-чуть. Меня едва не назначили возить самого старика Гинденбурга, но он протянул ноги...

У Лашкова-Гурьянова все плыло перед глазами. Хорват тоже изрядно насосался из истерического почтения к начальству. Грейфе кидал кости глухаря в раскаленные угли камина и смотрел, как они там спекаются и чернеют.

- Теперь досье, - сказал он, - личные дела на всех ваших курсантов. Я же, черт возьми, приехал за делом. Вам понятно, господа? Вы отличные парни, и все такое, и мы с вами встряхнулись, но дело есть дело, как говорят проклятые янки. Что вы на меня таращите глаза, Гурьяшкин, разве я так уж пьян?

Зонненберг убрал со стола.

- Выпейте, Макс, - велел ему шеф. - Вы же сладкий пьяница, я знаю. Там есть ликер. Но имейте в виду, что именно сладкие пьяницы - это конченные люди. Им место в газовых камерах, так мы с ними поступим после последнего акта, в эпилоге. Выпейте и ступайте! И не лезьте сюда, пока вас не позовут!

Макс ушел. Хорват еще подкинул дров в камин. Лашков-Гурьянов носил папки из соседней комнаты - папки с личными карточками, с фотографиями, папок было гигантское множество.

- Послушайте, вы шатаетесь, - сказал ему доктор Грейфе, - вы наакались, как свинья. Вы здорово пьяны, Гурьяшко?

- Никак нет, - вставая перед шефом, гаркнул Лашков-Гурьянов.

У него были две таблетки феномина, и он успел их принять. И нашатырного спирта он понюхал в прихожей. Сильно понюхал.

- Нет, вы пьяны! - засмеялся шеф. - Но я вас не осуждаю.

- Папок еще очень много, - из соседней комнаты произнес Хорват. - И они

рас... рас... падаются...

Там действительно что-то падало.

Грейфе взглянул на часы. Было около восьми. Тогда он решил, что эти пьяные идиоты ничего не поймут, вынул из бумажника свой список и прочитал вслух, какие фамилии ему нужны. Лашков записывал карандашом. Карандаш был жесткий, но Гурьянов писал жестким карандашом с умыслом: на втором листе бумаги у него останется копия. Он еще не знал, зачем ему эта копия, но не мог отказать себе в удовольствии иметь копию того, что нужно такому высокому начальству, как Грейфе.

Вдвоем с Хорватом они отобрали нужные досье. Всего девятнадцать. Выдавленную карандашом копию Лашков успел вынести в соседнюю комнату, а там упрятать в карман френча. Доктор Грейфе сел к столу, Хорват услужливо повернул абажур так, чтобы свет не резал ему глаза.

- Дайте карандаш, - сказал Грейфе, - слышите?

Робея от собственной смелости, Гурьянов протянул свой - твердый.

- В моей ручке кончились чернила, - брюзгливо пожаловался шеф. - Все кончается со временем.

И открыл первое досье. Досье Вершинина - моториста душегубки. Ему сделали легкую пластическую операцию - единственному из выпускников. Это был надежнейший из надежных, из всех, кого знал Гурьянов. И все остальные были надежными для фашистов людьми. Они были очень замараны, эти изменники, их руки были по локоть в крови. Это они поджигали гетто, они загоняли людей в газовые камеры, они выламывали у трупов золотые зубы, они выдавали себя за партизан и расправлялись со всеми теми, кто был связан с лесными людьми. Даже Гурьянов побаивался этих курсантов, когда они обучались.

- Вы можете подышать воздухом, пока я работаю, - сказал Грейфе. - В общем, уберите к черту, вы мне не нужны.

Он писал твердым карандашом. Твердым карандашом на листе бумаги, который лежал на стопке таких же листов. Что он писал?

Гурьянов-Лашков уже совсем протрезвел. Или почти совсем. А Хорвата еще продолжало развозить, он ухитрился вынести в кухню наполовину опорожненную бутылку коньяку и как следует хлебнул из горлышка.

Грейфе писал быстро, сверяясь со своей узкой и длинной запиской. И Гурьянов сообразил: у них, в "Цеппелине", нет такой картотеки. У них все данные сокращены. У них нет даже особых примет.

В соседней комнате он включил радио и сразу же напоролся на речь Геббельса и восторженные выкрики его слушателей.

- Господин оберштурмбанфюрер! - заорал он. - Скорее, господин доктор, говорит Геббельс...

Больше всего доктору Грейфе захотелось послать Гурьянова к черту, но это делать в данном случае никак не полагалось. Есть вещи, которыми не манкируют даже высшие лица в иерархии национал-социалистской партии. И, сделав приличное случаю выражение физиономии, Грейфе подошел к приемнику, шаркая своими меховыми туфлями. В это же мгновение на письменном столе зазвонил телефон: это новый командир взвода охраны Лизарев почтительнейше просил включить приемник, так как докладывает господин Геббельс...

- Кто, кто? - хоть он и слышал, кто докладывает, спросил Гурьянов.

Он впился взглядом в четкий почерк доктора Грейфе. Против фамилии Вершинина стояло название города - Новосибирск. Против фамилии Гогелло - Свердловск. Против фамилии Саенко - Ташкент. Против фамилии Озеров - Архангельск...

- Что, что? - кричал Гурьянов. - Говорите яснее, у вас каша во рту...

Теперь он все понимал - Гурьянов-Лашков. И прошлый разговор в часовне, тогда, осенью, он вспомнил. На длительное оседание, вот в чем дело. Они заброшены на многие годы, пока их не кликнут, пока их не позовут. Не важно, кто, какие хозяева, новые или старые. Они будут служить любым...

Швырнув трубку, он вернулся к радиоприемнику. Грейфе слушал со значительным выражением лица, слушал, но, наверное, ничего не слышал,



полулежа на тахте. Хорват стоял. В его звании полагалось стоять в таких случаях. И Гурьянов тоже стоял. "На длительное оседание, - думал он, - на длительное. Шеф забрал их себе "в сундук". Поэтому он и приехал один сюда. Шалишь, шеф, мне они тоже пригодятся. Я понимаю теперь, кому ты собрался продать свой "товар". Но ты подождешь! Ты еще подождешь! А я сделаю это быстрее тебя. Да, да, быстрее. Я продам их союзникам еще тогда, когда ты будешь только думать о сдаче. Я продам и получу подданство. Мне оно нужно, я маленький человек, я продам кое-что за право жить. А тебя все равно повесят!"

- Хайль Гитлер! - завизжал из приемника Геббельс.

- Хайль! - сказал Грейфе. - Как всегда, блестяще!

- Нет слов, - выпучился Хорват. - Грандиозный оратор...

- Зиг хайль, хайль, хайль! - гремел далекий зал, далекий Мюнхен.

"Нет, они еще сильны, - подумал Гурьянов. - Они ужасно до чего сильны.

Они в полном порядке!"

Его холуйское сердце всегда сладко сжималось, когда чудилась мощь. Он готов был молиться на танковую колонну. Армада "юнкерсов", плывущая на восток, чтобы бомбить Россию, которая его вскормила и вспоила, вызывала в нем острое чувство восторга. От гусяного шага частей СС и СД его прохватывал озноб.

Доктор Грейфе с выражением сожаления, оттого что принужден заниматься делом, вместо того чтобы слушать Мюнхен, направился к письменному столу. От выпитого алкоголя он очень побледнел. Или от порошка?

- Счастливчик, - сказал Хорвату Гурьянов, - я вам бесконечно завидую.

Новый год вы будете праздновать в Берлине. Кстати, вам следует немедленно начать готовиться. Мороженая птица, побольше дичи, масла, почему бы вам не побаловать семью. Сейчас я позову Лизарева, он все вам организует...

Чтобы не тревожить шефа и не мешать ему телефонным разговором, за новым командиром взвода охраны был послан солдат-истопник. На лице парня,

прибежавшего через несколько минут, выражалась веселая готовность ко всему, что угодно начальству. От быстрого бега он разругался, глаза его блестели.

- Вам следовало бы сбрить эти дурацкие бакенбарды, - сказал ему

Гурьянов. - И усы! На кой бес такие украшения?

- Некоторым нравится, - стоя "смирно", руки по швам, произнес Лизарев.

- В смысле девушек.

Он поглядывал то на Хорвата, то на Гурьянова со странным выражением наглой скромности.

- Господин Хорват будет праздновать Новый год в Берлине, - сказал

Гурьянов-Лашков. - Он должен иметь с собой хорошую дичь к новогоднему столу, битую птицу - кур, уток, гуся, ему понадобится масло, шпиг. Надо организовать...

Лизарев слегка подался назад.

- В Берлине?! - громко удивился он.

- А что? - спросил Гурьянов.

Командир взвода охраны потряс головой и довольно глупо засмеялся:

- Ничего особенного, просто позавидовал. В Берлине! Шутка ли сказать!

Такой город. И во сне не снится - повидать!

- Повидаете! - утешил Сашу Гурьянов. - Я в прошлом сентябре там был.

Есть что посмотреть. И вы доживете, Лизарев...

- Хотелось бы, - с усмешкой произнес Лизарев. - Дал бы там жизни!

Он смотрел на свое начальство с дерзким выражением. С дерзким и загадочным. Только много позже, когда случился у него длительный досуг, вспомнил Лашков-Гурьянов это выражение лизаревских глаз и тон его, на который тогда не обратил решительно никакого внимания.

Ах, если бы обратил!

- Будет сделано, - бойко произнес Лизарев. - Только разрешите сейчас же на хутора отлучиться. С охотниками поговорю насчет дичины и остальное организую...

- Можете, - отворачиваясь от Лизарева, ответил Гурьянов, - Чтобы к завтраму все было, к двенадцати ноль-ноль.

Саша козырнул, щелкнул каблуками и вышел. Гудящий ветер с Псковского озера толкнул его в грудь, он повернулся, побежал по ярко освещенному сильными лампами плацу. Нужно было сейчас же написать, сию минуту написать, сию секунду. Но когда явится связная? И явится ли? И не заподозрит ли его Локотков в том, что он ловчит?

Ветер все еще свистал в его ушах, когда он захлопнул за собой дверь в жарко натопленной караулке. Солдат-немец спал на нарах, из приглушенного репродуктора доносилось кваканье: заседание в Мюнхене еще не кончилось. Написав все, что нужно, об отъезде Хорвата, Лазарев-Лизарев разбудил солдата и, сказав ему, что идет на хутора по приказу Хорвата и Гурьянова, нырнул в лес за дорогой к Ново-Изборску. В темноте он не без труда нашел "свое" дерево. Следов к нему не было: связная не приходила. И записка, приготовленная на рассвете, лежала в дупле замерзшая. "Для выполнения задания подготовился. В расписание дежурств по охране включен на 1 января 1944 г. ответственным дежурным. Моим заместителем будет хороший парень. Пароль на 1-е число прилагается. Жду в назначенном месте. В деревне Ерусалимовка разместились прожекторная часть, в деревне Запутье - каратели, в деревню Ангово возможен приезд фельдмаршала, командующего Ильменско-Псковским фронтом на отдых и охоту". Он помнил свою записку наизусть. Теперь сюда следовало положить еще одну - об отъезде Хорвата.

Ветер с озера ударил с новой силой, сосны и ели заскрипели и заныли. Что делать? Срывать операцию? Но разве Гурьянов знает меньше, чем Хорват? Тем более что еще вчера, напившись, он болтал что-то насчет того, что непременно займет место Хорвата, который получает повышение. У них два ключа от сейфа, который стоит, кстати, в коттедже Гурьянова, а не Хорвата. Если же написать записку об отъезде Хорвата, то Локотков, не зная, кто Гурьянов и имеет ли смысл из-за него огород городить, может переиграть всю нелегкую

игру. А если Хорват вообще не возвратится? Пристроится там в Берлине, мало ли какие у кого ходы?

Что делать, с кем посоветоваться?

Подождать тут связную?

Но она не подойдет ни за что, да еще приметив возле тайника человека.

Шел уже одиннадцатый час ночи, когда Лазарев-Лизарев возвратился в коттедж Хорвата. Главный начальник - шеф, оберштурмбанфюрер, одевался в передней, попыхивая сигарой. Опять они все выпили, это было видно по их рожам. Корзину с битой птицей и мешок с дичью Саша кинул у порога. Масло было отдельно, в беленьком берестяном коробе.

- О, вы молодец! - сказал шеф, обдавая Лазарева-Лизарева сатанинским блеском глаз. - Снесите это ко мне в машину. Куры, я надеюсь, не мороженые?

И, похлопав Лашкова по плечу, добавил:

- В Риге этого не отыщешь, нет! Только в таких медвежьих углах, как тут. Кстати, медвежатину вы можете организовать?

Когда "оппель-адмирал", солидно покачиваясь, выехал за ворота и на столе Хорвата зажглась синяя лампочка, означающая, что сигнальная система школы включена и колючая проволока на заборах под током, Гурьянов снял верхний лист со стопки бумаги. Но Грейфе был хитрее, чем думал про него Лашков. Почти всю стопку он бросил в камин, серый бумажный пепел еще был виден на дотлевающих углях. Одно только не сообразил оберштурмбанфюрер: девятнадцать папок лежали слева, остальные справа. Что ж, и это удача. Четыре фамилии с адресами уже были в кармане френча Лашкова. Остальные пятнадцать он перепишет пока без адресов. Там будет видно...

- Еще немного коньяку? - заплетающимся языком спросил Хорват.

- А есть?

Лашков переключивал досье, запоминая фамилии.

- Он забрал мои продукты, - надтреснутым тенором произнес Хорват. -

Пусть Лизарев опять сходит. Я не могу не иметь продуктов.

- Сходит, сходит, - стараясь запомнить фамилии, быстро ответил

Гурьянов, - все у вас будет, господин начальник, все...

Стенные часы, снятые из приемной председателя Псковского исполкома, пробили двенадцать.

В это самое время Локотков сказал:

- Ну, что ж, будем собираться? Самое время, пока покругим, пока до места доедем, пока что. Давайте, не торопясь.

Эстонцы и латыш, съев на ужин старого, костлявого петуха, спали сидя.

На гестаповцев они все-таки похожи не были. Впрочем, насчет гестаповских офицеров у Локоткова были довольно туманные представления. Он видел их, как правило, мертвыми, в лучшем случае умирающими, а эдакими свободно болтающими, с сигарой в зубах - только в кино на экране, но в кино их играли русские артисты, имеющие о них еще более отдаленное представление, чем Иван Егорович. Так что шут его знает! Может, и бывают гестаповцы с такими лицами рабочих людей? Или обмундирование поможет?

Выехали все-таки не скоро. Задержала отъезд Инга. Негромко, но очень настойчиво она сказала:

- Все это вздор то, что вы тут обсуждаете. Пустяки. Я раньше много читала, очень много, и мне всегда было странно, что разные начальники так мало верят настоящим писателям...

Локотков нахмурился.

- А какие настоящие? - спросил он. - Откуда это видно?

- Если захотите увидеть, увидите, - сурово ответила Инга. - А если только "проходить" художественную литературу, тогда тут ничего не поделаешь...

И, раскурив козью ножку, пуская султаны дыма из маленьких ноздрей, она вдруг стала рассказывать о фашизме то, что знала из книг. Зрачки ее заблестели, бледные щеки стали розовыми. Латыш и эстонцы слушали напряженно,

даже Иван Егорович перестал торопить с отъездом.

- Тут главное - душевное хамство, - говорила Инга, - понимаете? Это у всех у настоящих описано. Пустота души. Им все равно, кого убивать, кого арестовывать, кого уничтожать. Они не думают, не рассуждают, они только выполняют приказы. Они - пустые. Ну, как это объяснить?

На мгновение лицо ее стало беспомощным, несчастным.

- Не понимаете?

- Очень понимаю, - сказал товарищ Вицбул, - тут дело не в мундире и не в прическе. Тут дело в этом...

Он хотел сказать "в душе", но постеснялся и лишь постучал указательным пальцем по тому месту, где предполагал у себя сердце.

- Это надо понимать, и тогда все будет в порядке, - с облегчением вновь заговорила Инга. - Именно с этим мы сейчас и воюем. Один замечательный писатель описал таких полуживотных - топтышек, это и есть фашизм. Они уже давно не люди, давным-давно. И не только писатели, а те, кто побывал в их лапах, те рассказывают, как, например...

Но она не сказала, кто "например", она назвала Лазарева "один человек". И, бросив курить, сбивчиво, очень волнуясь, стала рассказывать то, что слышала от Лазарева про лагеря, в которых он был. Локотков видел, что Инга дрожит, что ее мучает то, что она рассказывает, но он понимал, что "гестаповцам" нужен ее рассказ, и не прерывал, хоть время было и позднее. А когда они наконец выходили, в темных сенях Инга вдруг шепотом спросила:

- Мы за Лазаревым едем?

- Ох, девушка, и настырная ты, на мою голову, - сказал Иван Егорович. - Едем для хорошего, а чего случится, я еще и сам не знаю...

Только к утру отряд прибыл на хутор Безымянный, к надежному человеку, который здесь под немцами прикидывался кулаком. Для вида был у него заведен немецкий сепаратор, но в подвале, за бочками с капустой, в норе держал дед новенькие, искусно вычищенные и смазанные ППШ. "До доброго часу, когда

сигнал выйдет!" - любил он говорить.

Здесь поджидал Локоткова старик Недоедов - злой, как бес, усохший до костей, прокурившийся весь до желтого цвета.

- Аусвайсы тебе принес, на! - сказал старик, когда они заперлись вдвоем. - Бланков тут накрал, сколько мог...

И пошел разоряться насчет "поругания святынь исторических и старого зодчества" в Пскове. Иван Егорович жадно считал бланки со свастиками, а Недоедов все громил фрицев и гансов. В последнее время руки у него стали сильно дрожать, он явно сдавал. И на вопрос о здоровье, сознался:

- Жить тошно, Иван Егорович.

- Нина как?

- На посту, - с усмешкой ответил Недоедов. - В Халаханье корни пустила.

Не по своему хотенью, по щучьему веленью.

- А щука - это я?

Недоедов печально усмехнулся.

- Николай Николаевич как?

- Кто знает. Забрали еще под седьмое ноября. Может, и живой, а может, и убили. Ладно, устал я, посплю малость.

- Матроса-то видел?

- Нынче видел. Пока живой.

- Чего говорил?

- Говорил немного. Ходит по своей каптерке, стучит деревянной ногой - скурлы-скурлы. Дал понять, что человека некоего он рекомендовал, а за дальнейшее не ручается.

Забравшись на печь, Недоедов уснул. Опять, под стук немецких ходиков, потекло время, невыносимо медленное время.

- Когда же? - спросила Локоткова Инга в кухне.

- Что "когда же"? - рассердился Иван Егорович.

Она промолчала.

Тридцать первого, с рассвета, Иван Егорович, запершись с будущими "гестаповцами" в чистой половине дома, занялся их одеванием. Работа эта была нелегкая, Иван Егорович даже пыхтел, укорачивая брючины на товарище Вицбуле, которому загодя он присобачил два Железных креста и начищенную медаль "За зимовку в России". Латыш остался собой недоволен, даже закурил сигару.

- Какой-то опереточный фашист! - сказал он.

- А я лучше не могу, - обиделся Локотков. - Я и так голову с этим делом потерял. Сострой рожу зверскую, и вопрос исчерпан. Или пустоту сострой, как вас наша девушка учила по книгам.

Товарищ Вицбул заскрипел перед зеркалом зубами, но лицо у него осталось усталым и добрым. И пустота тоже не получилась, неизвестно было, чем ее обозначить.

- Глазами работай, - велел Иван Егорович, - показывай глазами, что ты начальник. Зверствуй!

- Я солдат, а не артист, - обиделся товарищ Вицбул, - я могу убивать этих пьяных шимпанзе, но не могу их представлять...

И зазря выкурил одну из двух трофейных сигар, так тщательно сберегаемых Иваном Егоровичем для самого спектакля, а вовсе не для репетиций.

Виллем и Иоханн оказались ребятами поговорчивее, особенно Виллем, который, как выяснилось, даже был в мирное время участником самодеятельности и очень правдиво играл некоего мистера Джофферси в пьесе из жизни империалистов.

- Я буду такой же, но только немец, - сказал Виллем, - я буду молодой миллионер, фат. Да. Но мне нужен портсигар. Без портсигар я не найду правду образа. Вы не думайте, нас учили по систем Станиславский, Константин Сергеевич. Мне обязательно, непременно нужно портсигар и чтобы щелкал. Иначе я буду вне образ.

- Не было у бабы хлопот, так купила порося, - вздохнул Иван Егорович. - Где я тебе, друг добрый, портсигар возьму?



Виллем пожал плечами.

Иоханну Виллем придумал стек. Локотков запер своих "гестаповцев" на ключ в чистой половине избы от любопытствующих партизан и вырезал в лесу палку. Остальное доделал мастер на все руки товарищ Вицбул. Потом завязалась мелкая склока из-за орденов, Иоханн и Виллем считали, что по одному Железному кресту и по одной медали "За зимовку в России" им мало. Хоть они и были лейтенантами, но, по их представлению, уже узнали, что такое "млеко, курка и шпик". И вообще, гестаповцы куда чаще получали гитлеровские награды, чем простые армейцы.

- Да что мне, ребята, жалко, что ли, - вконец рассердился Локотков. - Нету больше. Еще два было, осколком погнутые, курям на смех такие нацеплять. Пенсне есть, это пожалуйста, кто желает, может сунуть в глаз.

То, что Локотков назвал пенсне, было на самом деле моноклем. Виллем очень обрадовался: монокль, по его словам, вполне заменял ему портсигар, с моноклем он возвращался "в образ".

- А носовые платки? - вдруг вспомнил Иоханн. - Все гестаповцы, да, да, имеют платки. Я должен иметь платок, чтобы приложить его к нос. Или сморкаться.

Иван Егорович заскреб голову. К счастью, платки нашлись у старухи в сундуке.

- Заимообразно! - сказал Иван Егорович.

Старик усмехнулся.

- Эх, начальник, - сказал он, - для чего чепуху мелешь? Двух парней моих немцы убили, что мне со старухой теперь надо? Платочки - слезы утирать?

Старуха вдруг взвыла, пошатнулась, Иван Егорович придержал ее, чтобы не упала. Потом долго она в голос плакала под окнами, а старик помаленьку пригублял самогонку из зеленого стаканчика, потчевал Недоедова, Локоткова, разговаривал сам с собой:

- Слышно, кто под немцем пребывает, тому доверия потом не будет. Или

это ихняя агитация, они на выдумки горазды. Но только зачем недоверие?

Старый Недоедов вдруг захмелел, запел тоненько:

Москва моя, страна моя,

Ты самая любимая...

Вновь спустилась ночь, последняя ночь перед операцией, которую Локотков нынче в уме окрестил вдруг операция "С Новым годом!". В сущности, все было сделано, решительно все. Больше ничего нельзя было предусмотреть. "Гестаповцы" уже досыта нахлебались куриной лапши и согласно медицинской науке дремали на перинах в жарко натопленной, чистой избе. Группа прикрытия, группа, остающаяся в засаде, группа разведчиков - все решительно, кроме выставленных часовых, отдыхали по приказанию Локоткова, ожидая его команды. Только связная Е., принеся записку Лазарева насчет пароля, плакала возле печки: обморозила ноги.

Локотков курил на крыльце.

"Что ж, - рассуждал он, - Если Сашка продаст и мы услышим стрельбу, попробуем отбить наших "гестаповцев". Мне, во всяком случае, живым с этого дела уходить нельзя. Никак нельзя. Впрочем, так думать тоже нельзя. Невозможно так думать!"

В одиннадцать десять с хутора Безымянного вышла группа разведчиков. До Вафеншуле было не более тридцати минут ходу. В одиннадцать сорок пять трое "гестаповцев" в лихо посаженных фуражках с высокими тульями и длинными козырьками сели в парные сани. Застоявшиеся сытые кони с места взяли наметом. Кучер - чекист Игорь - в тулупчике дурным голосом крикнул: "Эх, милые-разлюбезные!" - и полоснул обоих коней кнутом по крутым крупам. Иван Егорович со своей группой прикрытия видел, как фасонные, с гнутыми оглобелями коренного, сани помчались к мерцающим огням школы. Локотков засек время на своих трофейных, с фосфором часах: одиннадцать пятьдесят три.

Операция "С Новым годом!" началась.

Теперь Ивану Егоровичу оставалось только ждать.

Инга стояла рядом с ним. Автомат Лазарева висел у нее на шее. И она ждала. Только ждала. Ждала, застыв совершенно неподвижно, будто неживая. Так ждала, что Иван Егорович даже ее окликнул:

- Ты как там, друг-товарищ?

- Нормально, - ответила она.

- Ничего?

- Ничего.

И вновь они замолчали.

## **ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ**

Гурьянов-Лашков хотел было встречать Новый год с преподавателями школы, как было условлено с утра, но часам к десяти уже изрядно напился и совершенно забыл о том, какое нынче число и какой день. В половине одиннадцатого к нему пришел парикмахер, и Лашков с ним тоже выпил, но бриться не пожелал, потому что "все ни к чему". А минут за двадцать до Нового года исполняющий обязанности начальника разведывательно-диверсионной школы в Печках обершарфюрер СС Гурьянов повалился на койку и заснул мертвецким сном пропойцы.

Дверь Саше Лазареву-Лизареву отворил вестовой Гурьянова и приставленный к нему шпион из "Цеппелина", уголовник, по кличке Малохольный. Еще звали Малохольного за его длинную шею и тонкий голос Цыпа. Услышав деревянный, остуженный на морозе голос Лизарева: "Открывай, из гестапо", Малохольный подумал, что это сработали его доносы на пьянство Гурьянова, и угодливо настезь распахнул дверь в тамбур коттеджа. Три гестаповца, обдав Цыпу

запахом сигары, топая подкованными сапогами и ведомые Лизаревым, прошагали в спальню обершарфюрера. Метнувшийся за ними Малохольный быстро схлопотал поуху и замер по стойке "смирно".

- Стоять здесь, падло! - крикнул ему командир взвода охраны, не оборачиваясь.

Гурьянов храпел с повизгиваниями. Цыпе было видно в дверь, как старший гестаповский офицер сорвал со стены автомат, разрядил его и бросил на диван, в то время как Лизарев выдернул из-под подушки храпящего Гурьянова пистолет и сунул себе в карман.

"Тоже гестаповец!" - удивился про себя Цыпа и приметил, что Лизарев нынче без своих бакенбардов и без усов.

Другой гестаповец сильно затряс Гурьянова. При этом стеклышко из глаза гестаповца выскочило и, играя отраженным светом, закачалось на шнурочке. Гестаповец вновь вправил его и опять дернул Гурьянова за руку.

- Вон, сволочь, пшел! - забормотал обершарфюрер.

В кабинете коттеджа зазвонил телефон, старший гестаповец медленно подошел к аппарату, снял трубку, послушал и сказал что-то по-немецки, чего Малохольный не понял. Зажглась синяя лампочка: школа под током, смертельно! Гурьянов-Лашков опять заругался. Тогда тот, что был со стеклом, взял с тумбочки графин и вылил всю воду на голову обершарфюрера.

Гурьянов сел.

Пьяные его глаза тупо смотрели на немецких офицеров, которые уже успели снять шинели и держались в коттедже хозяевами.

Гурьянов спустил ноги в трикотажных кальсонах с кровати. Самый молодой из гестаповцев швырнул ему штаны, предварительно обыскав карманы. Старший, майор, сел в кресло и зачмокал сигарой. На лице у него была написана скука, и было видно, что он никуда не торопится. "Пустые" глаза на этот раз удались.

Серые щеки Гурьянова дрожали. Только натянув брюки, он начал

соображать, что происходит. Цыпе было слышно, как он провякал какие-то немецкие слова, после которых старший гестаповец вынул из кармана бумагу и показал ее начальнику школы из своих рук. Гурьянов прочитал, тогда Малохольный увидел, до чего Сашка Лизарев главный среди гестаповцев: он по-русски спросил обершарфюрера:

- Понял теперь, свинячья морда, изменник проклятый?

Конечно, всю кашу заварил этот недавно прибывший сюда Лизарев. Он выследил Гурьянова, который, оказывается, работал на Советы и на коммунистов. Так что очень даже правильно поступил Цыпа, отправляя свои доносы в Ригу, в гестапо. Но в то время, когда подвыпивший Цыпа так себя хвалил, Лизарев вдруг заметил его глаза, поблескивающие из темной передней, и велел ему войти в комнату.

Цыпа, изображая всем своим поведением величайшее послушание и преданность, вошел почему-то на цыпочках. Губы он сложил бантиком и шею вытянул, словно тугоухий, в ожидании следующих распоряжений.

- Залазь в шкаф, - велел Лизарев.

- Это как? - не понял Малохольный.

- Сюда, в стенной шкаф! Живо!

И Лизарев распахнул перед Цыпой дверь большого стенного шкафа, в котором висел парадный мундир обершарфюрера. И еще что-то штатское здесь висело, Малохольный вспомнил, пожива с еврейчиков, когда их угоняли из Эстонии - сжигать.

- И чтобы тихо было! - рявкнул Лизарев, запирая шкаф на ключ.

Цыпа не сопротивлялся. Слишком страшен был сейчас бывший командир взвода охраны школы. Такие, случается, стреляют не предупредив, а Малохольный не желал зазря расставаться с жизнью.

Заперев шкаф и положив ключ себе в карман, Лизарев негромко по-русски сказал старшему офицеру, который занимался своей сигарой:

- Предполагаю возможным начать погрузку документов?

- Я! - по-немецки ответил майор.

Его сигара лопнула в середине, и он старательно заклеивал ее большим красным языком.

- Ключ От коттеджа Хорвата у тебя, рыло? - спросил Лизарев Гурьянова.

- Здесь, - похлопывая себя по карманам френча, тухлым голосом ответил Гурьянов. - При мне.

- Ключ от сейфа?

- Здесь же!

- Шинели мы оставим тут, - сказал Лизарев "гестаповцам". Гурьянов не видел, что он им подмигнул. - Пошли?

Было всего двенадцать минут первого, когда они впятером вышли из гурьяновского дома. В здании школы с грохотом плясали курсанты, оттуда доносились ноющие звуки радиолы. С неба светили, мигали морозные звезды, снег под сапогами "гестаповцев" сердито скрипел. Гурьянов шагал словно бы в оцепенении, морозный ветер шевелил редкие его волосы.

- Шнелль, шнелль, - подстегнул его самый главный и, видимо, самый раздраженный, майор, - шнелль!

И вдруг навстречу им из-за угла приземистого вещевого склада вынырнули все преподаватели Вафеншуле, все вместе, и очень навеселе: и пузатый коротышка Гессе, и огромный Штримутка, и князь Голицын, приплясывающий на ходу, и приехавший в гости инспектор Розенкампф в своей дорогой шубе. Они шагали в ряд, забавляясь тем, что Штримутка показывал им настоящую старую прусскую выучку, и очухались только тогда, когда Саша Лизарев высоким, не своим голосом крикнул им в их пьяные, разгоряченные лица:

- А ну с дороги! Не видите, господа из СС?

Конечно, они увидели, и их прусский строй словно перерезало ножом, а старый князь Голицын даже очутился в сугробе. Они отдали честь - господа преподаватели Вафеншуле, а "гестаповцы" небрежно им козырнули - два пальца к длинным козырькам и какое-то урчание, его издал на всякий случай товарищ

Вицбул. А обер-лейтенант посмотрел в лицо Штримутке "пустым" взглядом, как учила их товарищ Шанина, изучившая Лиона Фейхтвангера. Штримутка козырнул еще раз, уже вслед высоким гостям. А князь Голицын сказал по-русски:

- Пожалуй, дело дрянь, господа!

Когда вошли в коттедж, то прежде всего Гурьянову предложили открыть сейф. Он сделал три условных поворота, набрал пальцем шифр и еще раз повернул ключ. Лицо его совсем посерело. Майор вновь развалился в кабинете Хорвата, как сидел прежде у Гурьянова. Лизарев притащил из кладовки кожаные чемоданы. Офицер со стеклом в три приема очистил сейф и вывалил все его содержимое в один чемодан. Другой офицер, у которого все вываливался монокль, носил папки с полком, те самые досье, которые так интересовали доктора Грейфе. Лизарев с трудом застегнул один чемодан, другой тоже быстро наполнялся. Дело шло быстро.

- Овощи идут - тары нету, - со смешком сказал Лизарев и нажал коленом на крышку другого чемодана. Молодой лейтенантик подтянул ремни. Другой все еще носил папки.

- Много там еще? - спросил Лизарев.

- Найн, - сказал лейтенант. И поправился: - Колоссаль!

Майор наконец сладил со своей сигарой и принялся ее раскуривать.

Лизарев понес чемодан к саням, хлопнула одна дверь, потом другая. Гурьянов сидел не двигаясь на краю дивана, голова его кружилась, он сжимал виски ладонями. Конечно, ему следовало уничтожить те самые главные бумаги, которые были в его кармане, - список агентуры, засланной на длительное оседание. Несомненно Грейфе подглядел, когда слушал речь Геббельса. Этот обыск и арест - дело рук Грейфе, но как уничтожишь, когда проклятый майор не отводит от тебя своих сонных глаз?

- Беда с этой тарой, - деловито сказал Лизарев, возвращаясь с корзиной в руке. - Придется сюда складывать...

Гурьянов услужливо сказал, что в его коттедже есть еще чемоданы, но

Лизарев оставил эти слова без внимания. Он вообще словно не замечал обершарфюрера, перед которым еще три часа тому назад тянулся и весело скалил зубы.

Тогда Гурьянов покашлял в кулак и вежливо по-немецки объяснил майору, что-де за кухней, в чуланчике, хранится архив - документация позапрошлого года. И тут произошло нечто странное: майор не понял обершарфюрера. Впрочем, все тут же разъяснилось.

- Ты говори по-русски, - велел Лизарев, - господин штурмбанфюрер твоего вонючего кваканья не понимает. Он сам... - Лизарев словно бы подумал и наконец вспомнил: - Он сам голландский...

За спиной Гурьянова послышалось странное шипение, он оглянулся и увидел, что лейтенант с моноклем то ли кашляет, то ли плачет.

Все трое - Лизарев и два офицера помоложе - ушли в кладовку, Гурьянов остался наедине с майором. Штурмбанфюрер зевнул с воем. Гурьянов тихо спросил:

- За что меня, господин майор? Я...

- Замолшать! - рявкнул штурмбанфюрер.

И так как делать ему больше было решительно нечего, то он вынул из кармана пачку действительно голландских сигарет "Фифти-Фифти". Гурьянов, чуть-чуть осмелев, попросил закурить и показал на пальцах - одну, но гестаповец не дал. Он долго что-то вспоминал, потом показал на Лашкова и сказал громко:

- Мерд!

Гурьянов втянул лысеющую голову в плечи, лысеющую, хоть и длинноволосую. Товарищу Вицбулу было видно теперь, какие ухищрения производил этот тип со своей башкой, чтобы не выглядеть плешивым.

Майор взглянул на часы и вздохнул.

Лейтенанты с Лизаревым пронесли архив в ящиках от консервов. Потом они вскрыли письменный стол Хорвата и обыскали весь дом - с чердака до погреба.



Часы на руке Гурьянова показывали без пяти два, когда Лизарев закрыл на ключ хорватовский коттедж.

- Все? - спросил с козел Игорь.

- Померзни еще, парень, - сказал ему комвзвода. - Тут дело такое, аккуратно надо. За нами езжай к тому дому...

Гурьянова вели "гестаповцы". Но у крыльца гурьяновского коттеджа лопотал свой пьяный вздор князь Голицын. Наверное, его послал Розенкамф - разнюхать, в чем дело.

- Пойдем в хату, - быстро распорядился Саша, - пойдем, господин князь, погреемся маленько.

И, увидев страх в стариковских глазах, слегка только повысил голос:

- Ну? Не понимаете? Быстренько, на полусогнутых, эти гости шутить не любят.

Пока обыскивали коттедж Гурьянова, старый князь несколько раз перекрестился. Дело действительно пахло керосином. Обыск был длинный, но пуще всего пьяного старика пугали звуки из шкафа: там чесался и чихал запертый на замок Цыпа-Малохольный.

- Ночь, исполненная мистики, - сказал старый князь.

- Вас ист дас? - осведомился майор.

- Мистика, - с усердием повторил Голицын. И, приподнявшись, представился: - Князь Александр Сергеевич Голицын.

- Они голландец, - разъяснил Лашков князю. - Но понимают по-русски.

Майор с двумя Железными крестами на груди сердито зевнул, потом спросил громко, вытаращив на Голицына глаза:

- Вы... князь?

- Так точно, - ответил Голицын.

- Зачем? - осведомился гестаповец.

- То есть как зачем? - несколько смешался розовощекий и упитанный старичок, сидевший перед штурмбанфюрером. - Я рожден князем, и этот титул...

- Можно молчать! - сказал голландец. - Уже все!

Он раскурил свой сигарный окурочок. Было видно, что он хочет спать. Потом он слегка склонил голову на грудь, и тогда Гурьянов ловким и быстрым движением достал свои давешние записки из бокового кармана, чтобы передать их князю. Тот вряд ли бы взял, тогда Лашков-Гурьянов закинул бы их за диван. Но проклятый голландец не спал и не дремал даже. Он просто так сидел и вдруг вскинул голову, когда бумаги уже были в руке Гурьянова.

- Дать сюда! - не поднимаясь с места, довольно вялым голосом сказал голландец. И тотчас же Гурьянов увидел перед собой ствол пистолета, ствол "вальтера", направленный ему в грудь.

- Именно это я и хотел, - произнес услужливым, паточным голосом Гурьянов. - Именно это. Случайно вспомнил, здесь, в нагрудном кармане...

- Можно молчать! - опять распорядился голландец. - Иначе - фаер!

Пистолет все еще был в его большой руке.

А князю голландец сказал совсем загадочные слова:

- Вы не есть больше князь. Никогда.

- Как это не есть? - обиделся Голицын.

- Так. Был и нет.

- Как был и нет? - опять не понял старичок.

- Я забрал, - произнес товарищ Вицбул, пряча "вальтер" в кобуру. -

Финиш. И можно молчать!

Ровно в четыре часа пополночи Лизарев снял трубку и сказал:

- Господину Гурьянову не звонить, они отдыхают! Связь с Псковом будет восстановлена, когда рассветет. Кто говорит? Командир взвода охраны Лизарев говорит, лично.

"Гестаповцы" снимали с вешалки шинели, бывший князь Голицын, разжалованный нынче товарищем Вицбулом, тоже поднялся.

- А вы, дедуля, не торопитесь, - посоветовал ему Лизарев, - над вами не каплет. Вы посидите здесь, отдохните. А если до утра кто узнает, что тут

случилось, вас эти гости тоже увезут. Понятно - куда?

И, обернувшись к Гурьянову, велел:

- Одевайся. Отдельное приглашение требуется?

Сани дожидались у крыльца. Игорь делал вид, что дремлет. Впятером они едва взгромоздились на чемоданы и ящики с документами разведывательно-диверсионной школы. Ворота Лизарев отворил сам и сам их аккуратно заложил бревном и запер на замок. Своему заместителю он сказал деловито:

- Довезу до шоссе, переседут в свою машину, и вернусь мигом. Шнапс наш не выпил? Береги, жди!

Немца качало спросонья и от выпитого шнапса. Он тотчас же вновь завалился на нары. Лизарев-Лазарев крепко обнял Гурьянова за талию, Игорь сильно полоснул коней, мимо помчались ели и сосны в снегу.

Операция "С Новым годом!" закончилась.

Но все еще молчали.

Первым заговорил Лазарев. Эти строчки он слышал от Инги, и они вдруг вспомнились ему на свистящем, морозном ветру:

Как дело измены, как совесть тирана,

Осенняя ночь темна...

- Как? - спросил "майор СС" товарищ Вицбул.

- Стих, - тихим и счастливым голосом пояснил Лазарев. - Ничего, так просто...

Товарищ Вицбул Сашиных слов не расслышал. Кони внезапно остановились, к саням бежали люди в полушубках, в ушанках, с автоматами.

- Есть? Живы? - узнал Лазарев голос Локоткова.

- Гвардейский порядок, - ответил Саша. - Здесь он, сука, вот - обнимаю его, живой-здоровенький. Все тихо сделано, можете не сомневаться...

Но Локоткова он не нашел, выпрыгнув из саней. Он столкнулся с Ингой и не сразу понял, что это она: никогда не видел в полушубке.

- Я знала, - услышал он ее голос. - Я всегда знала, какой вы. Я в первый раз поняла и поверила...

Они оба дрожали, и он, и она, он - потому, что позабыл одеться, уезжая из Вафеншуле, был только в кительке, она - потому, что увидела его, и, наверное, еще потому, что страшилась не увидеть никогда.

- Ой! - воскликнула Инга. - Вы же без шинели...

- Ничего, - сказал он, - теперь ничего. Теперь хорошо.

Группа прикрытия зажала их, и они шли быстро в теплой, шумной толпе партизан. Кто-то накинул на Лазарева одеяло, или попону, или плащ-палатку - он не разобрал, кто-то сказал: "Ну, чистый депутат Балтики сзади, как твой Черкасов" - он не услышал; холодная, бессильная рука Инги была в его руке, вот это он и понимал и слышал. Теперь ее никогда, никто не попрекнет им.

Гурьянов один ехал в санях.

- Как покойника везете, - глухо сказала Инга.

- А он и есть покойник, - ответил Лазарев. - Труп.

Только в избе Локотков подошел к Лазареву. Сердце Ивана Егоровича билось глухо, толчками с того самого мгновения, когда он услышал голос Лазарева. Но он не подошел к нему, потому что всей своей сутью понимал: помешает. А сейчас положил обе руки ему на плечи и, едва справляясь с волнением, глухим со стужи голосом, но громко, словно бы перед строем, произнес:

- Здравствуй, товарищ лейтенант!

И неожиданно для себя, повинувшись невообразимо сильному, почти яростному чувству счастья, обнял Лазарева, крепко прижал его к себе и, боясь лишних слов, добавил:

- С Новым тебя годом, Александр Иванович, с Новым, счастливым годом! И спасибо тебе, что ты так... короче... доверие оправдал...

В первый раз за все эти жестокие времена Локоткова вдруг прошибла слеза, но он поморгал, покашлял и распорядился:

- Теперь водки, хлопцы, у меня есть заначка, отметим это дело по-быстрому. Лазареву почет и место. Товарища Шанину - рядом. Вокруг - "господ гестаповцев", пусть в своем виде с нами посидят. Игоря не забудьте...

- Для вас шампанское есть, - сказал Саша Инге и выскочил к консервным ящикам. Там, среди бумаг Вафеншуле, имелась и его заначка - две бутылки французского шампанского, найденного при обыске. Он и их на стол поставил.

- Однако ты парень проворный! - удивился Локотков.

Хозяин принес десятилинейную керосиновую лампу, печеного гуся, томленную зайчатину в чугуне. Дважды выстрелило шампанское.

- За победу! - сказал Иван Егорович.

- За доверие! - сказала Инга. Она была очень бледна, глаза у нее блестели, нет, что там блестели - сияли. - За доверие, - повторила она, - без него не бывает победы.

- Прозит! - сказал товарищ Вицбул. Он немножко запутался, где он сейчас, и даже сплюнул досадливо. - За ваше большое счастье, - произнес он, глядя отнюдь не пустыми глазами на Ингу и Сашу. - За большое ваше счастье, товарищ Шанина и товарищ Лазарев.

## **ГЛАВА ПОСЛЕДНЯЯ**

В крайнее, почти обморочное изумление пришел Лашков-Гурьянов, когда окончательно понял, куда он попал и как его, доку и старого воробья, провели на мякине. С отвисшей челюстью, прерывисто дыша, произнес он слова, занесенные впоследствии в официальный документ:

- Я никогда не предполагал, что партизаны умеют так работать...

Крупная дрожь била бывшего обершарфюрера. Локотковские ребята, напирая друг на друга, разглядывали из двери чистой половины избы плененного изменника. Он сидел посередине комнаты на венском стуле, подобрал под себя ноги в начищенных Цыпой-Малохольным немецких хромовых сапожках. По бледному лицу его катился пот. "Гестаповцы" на его глазах стаскивали с себя мундиры, переодевались и переобувались. Железный крест с дубовыми листьями валялся, оторванный, на затоптанном полу, и никто его не замечал. Фуражка обер-лейтенанта откатилась в сторону и лежала у ног Гурьянова, она тоже теперь никому не была нужна. А Лашков все всматривался в своих похитителей зыбким, потерянным взглядом смертника и не понимал своего ослепления, когда принял он этих рабочих людей, наверное токарей, или паровозных машинистов, или электриков, за высокое гестаповское начальство.

Страшно сделалось ему еще и тогда, когда узнал он Артемия Григорьевича Недоедова, с которым не раз ловил рыбу на Псковском озере и который, оказывается, был своим среди этих укравших его людей. Еще более страшно стало, когда в разведчице Е. разглядел он Катю-Катюшу, что снабжала преподавателей Вафеншуле лесной, дикой малиной. И дед здешний, хозяин хутора, к которому жаркими летними днями хаживал Гурьянов попить холодных сливок для укрепления здоровья, тоже оказался их человеком, специальным партизанским кулаком. Все, решительно все они были лютыми его врагами, все выслеживали каждый его шаг, и малину доставляли нарочно, и на рыбалку увозили со своей целью, и сливками потчевали в расчете на страшный конец гостя...

Зябко и дико было сидеть ему среди этих людей, как бы и не замечающих его присутствия, хоть за спиной его и похаживал партизан с рукою в кармане, шагни - убьет. И курить хотелось, и выпить водки, а потом внезапно едва не завыл он, осененный мыслью, что вскоре будет расстрелян и нет ему никакого выхода, никакого спасения. Но тут же заторопился, мысли побежали вскачь -

надо говорить поболее, объяснять, надо показать им свою замечательную осведомленность, свою полезность их разведывательным органам, не расспросов и допросов ждать нужно, а самому первому себя перед ними возвеличить и выставить в выгоднейшем для него свете.

- Господин начальник, - слегка приподнявшись со своего стула, не позвал, но пролепетал Гурьянов, - господин начальник, кто тут, господа, начальник?

Локотков выдвинулся вперед, молча окинул взором пепельное лицо Лашкова.

- Господин, - повторил Гурьянов и еще чуть-чуть привстал, - вот у них, - он показал кивком головы на бывшего майора СС, - вот у них в кармане имеются чрезвычайной важности документы.

- И что? - последовал ответ.

- К вашему сведению, господин начальник, именно к вашему, я обязан все доложить конфиденциально и безотлагательно...

- Отложим, - поворачиваясь к Лашкову спиной, ответил Локотков.

И пошел искать Сашу, которого кормила Инга. У него, по его словам, "со страшной силой аппетит прорезался", от волнения последних суток ничего в Вафеншутле не мог есть, а тут хоть караул кричи - не оторваться от харчей.

Инга держала перед ним посудину, а он ел из нее картофелины в крепком, густом мясном соусе, крошил зубами хлеб, хрупал холодным соленым огурцом. И простоквашу хлебал, и французское шампанское из горлышка допил - все в молчании, потому что вокруг тесно сгрудились партизаны, только теперь распознавшие, кто действительно герой этой необыкновенной истории. Спрашивать стеснялись, а лишь перешептывались друг с другом, вспоминая лазаревский концерт и песни его, вспоминая, как рванул он в бою гранатой не менее полдюжины фрицев, а потом "прибарахлился" сразу двумя автоматами. Иногда лишь до Лазарева и Инги доносились слова:

- Это надо же!..

- Так он и в плену не был. Он туда заслан был нарочно.

- Не наваливайся, Гришан!

- На Героя потянет, точно...

- Жрать силен! Как вернулся, так и приступил.

- Там небось отравить могли.

- А что? И свободно...

- Отвяжись ты, Гришан!

- А ну, давайте отсюда, хлопцы, - сказал ребятам Локотков. - Он не выставка, он человек, и уставший еще. Давайте к выезду готовиться, не в музей пришли...

Ребята, ворча, разошлись. Локотков присел перед дорогой с Лазаревым и тихой Ингой.

- Ты чего все дрожишь, товарищ Шанина? - спросил он негромко.

- Простыла, наверное, - за Ингу ответил Саша. - И полушубок я на нее надел, никак не отогреется.

- А ты - отогрелся?

- Я - нормально. Последние часы там, в Вафеншуле, немножко нервная система отказала, - сказал Лазарев, - напряжение было сильное.

- С чего?

- Думал, не поверите и не пришлете людей. Срок положил - до смены караулов. Ежели не пришлете, застрелюсь, к свиньям собачьим. Без доверия жить человек не может...

- Это смотря какой, - взглянув на Гурьянова, невесело ответил Иван Егорович.

- Вы вашу тройку особо должны выделить, - с полным ртом продолжал Лазарев. - Это ребята-гвозди, замечательные ребята, выдающиеся. У них нервов вовсе нет. Честное слово даю. Были такие минуты, я думал, верно, гестаповцы. Сильно давали типов, особенно этот, с моноклем. Хоть бы что ему, занимается своим стеклышком и никакого страха не показывает.

- Это у него такая система, - не без почтительности произнес Локотков,



- на букву С, забыл я фамилию. Создавать образ, понятно?

В шестом часу локотковская группа, попетляв по лесу, легла на курс - заиндедеввшие кони помчались к деревне Столыпино Славковского района, в штаб бригады. Всю дорогу Лазарев укрывал и укутывал Ингу. В районе Пикалихи перевалили железную дорогу и, отстрелявшись на ходу от немецких патрулей, исчезли в чащобе.

В штабе Локоткова встретил Петушков. Доставил чекистам подарки к празднику, консервы "Треска в масле". Крепко пожал руку Ивану Егоровичу и сказал, что поздравляет его от имени командования за проведение блестящей операции и сам займется составлением соответствующих подвигу наградных листов.

- Лазарева вашего также отметим, - произнес он значительным голосом. - Думаю, вернем ему и звание.

- Только еще думаете? - прохладным голосом ответил Локотков. - Пока что я сам его лейтенантом называю, не иначе. А что касается отметить, то кого же и отмечать, как не товарища Лазарева Александра Ивановича. Это надо только представить, что он пережил за прошедшие месяцы. Ведь каждую минуту мог Лазарев напороться на человека, который его знал по службе в РОА. И тогда что? Что тогда, друзья-товарищи?

- Все мы на войне рискуем, - ласково ответил подполковник. - Каждому его военная судьба.

Иван Егорович промолчал.

- Я ничего против вашего Лазарева не имею, - дружески беря Ивана Егоровича за запястье, произнес подполковник, - но согласитесь сами, человек беспартийный, а так героически себя вел. Невольно закрадывается мысль, которая требует ответа: почему?

- Почему? - внезапно вспыхнув, ответил Иван Егорович. - Почему? Да разве вы можете понять почему? Вы на меня не обижайтесь, что я смею это вам при вашем звании высказать, но разве такая совесть у вас, как у товарища

Лазарева?

- А какая у меня совесть? - совсем тихо осведомился Петушков. - Какая?

Вы уж раз начали, то договаривайте.

- Договорю, - с горечью сказал Иван Егорович.

- Ну?

- Угодливая у вас совесть, вот какая.

Петушков молчал, да и Ивану Егоровичу нечего было больше сказать.

Погодя Петушков причесался почему-то, попил чаю, покурил и спросил жестко:

- Правда ли, что меня бабкиным внуком называют?

- Слышал не раз, - не желая ничего терпеть больше от петушковых любых рангов и мастей, ответил Иван Егорович. - Утверждают некоторые, что добрая бабка вам ворожит.

- Кто же это утверждает?

- Люди, - совсем уже зло произнес Локотков, - военнослужащий народ.

- А сам, дескать, я ничего и не значу?

- Вы бы, может, и могли, да что...

Иван Егорович махнул рукой и, чувствуя себя совсем разбитым, пошел спать. А бабкин внук, по рассказу свидетелей, покуда Локотков отдыхал, пошел с Златоустовым сопровождать подрывников Ерофеева. Возле Пикалихи разведчики Ерофеева напоролась на немцев с собаками, Петушков попал в самую гущу неожиданного и неудобного для партизан боя, отбивался с яростью, даже тогда, когда кончились патроны, и был застрелен в лицо немецким ефрейтором, который тоже тут же кончился. Тело подполковника принесли в штабную избу, и долго сидел над ним, над изуродованным смертью красавчиком, Иван Егорович, долго и жестко корил себя за "бабкиного внука". Лицо Петушкова было закрыто вафельным полотенцем, виднелась лишь плоеная прическа, да руки видел Локотков - красивые, с отделанными ногтями, совсем теперь белые.

Погодя пришел мрачный комбриг, сказал глуховатым басом:

- О мертвых либо ничего не говорят, либо говорят правду. Я - правду

скажу: как жил для себя, так и погиб для себя лично. Все наперекосяк. А мог и выжить нормально, с пользой и по-честному.

- Помер он по-честному, - ответил угрюмо Локотков. - Чего честнее?

- Нет, Иван Егорович, не так. Доказывая, помер. Он и в прошлый раз доказывал.

Помолчал и добавил:

- Прослышал от кого-то про "бабкиного внука", вот и доказывал.

- Со мной беседа была, - отозвался Локотков. - Ну, да что теперь толковать? Теперь поздно.

На морозной улице Локотков встретил доктора Знаменского. Тот рассказал, что у Инги Шаниной тяжелейшее воспаление легких, и ее нужно бы отправить без промедления на Большую землю.

- А Лазарев где? - спросил Иван Егорович.

- У нее. Не отходит.

- Ты за ним пригляди, доктор, - попросил Локотков. - Дерганный он нынче, нахлебался немцев до отказа. А Ингу, конечно, отправим, может, и сегодня в ночь самолет прибудет.

С самолетом пришло письмо: тело Петушкова следовало отправить на Большую землю. Захлопотали изготовить гроб, да столяра никак не находилось, дед Трофим взялся, но не сдюжил, позвали умельца на все руки Лазарева. Тот посмотрел дедову работу, сказал сердито:

- Разве гробы так строят? Обрил бы я тебе бороду, как царь Петр боярину, за такую халтуру. Стругай доски и не мешайся под руками.

Иван Егорович срочно допрашивал Гурьянова; за ним прилетели два непроницаемых майора.

Лашков-Гурьянов сразу пошел с главного своего козыря - со списка агентов, засланных на длительное оседание. Игра у него была придумана ловкая, в виде задатка господину начальнику - четыре фамилии с адресами, впоследствии же он постарается вспомнить всех, или это можно будет

установить путем проведения ряда следственных приемов, когда будут выловлены первые агенты.

- Чтобы расстрел оттянуть? - угрюмо осведомился Иван Егорович.

Лашков-Гурьянов замолк, обдумывая иные ходы.

Поздней ночью Локотков, тяжело утомленный отвратительным своим собеседником и игрою его изворотливого ума, вышел на крыльцо штабной избы - подышать. Здесь, завернувшись в овчинный тулуп, мурлыкал Лазарев любимый свой романс:

Там под черной сосной,

Под шумящей волной

Друга спать навсегда положите...

- Что разыграл? - осведомился Локотков. - Полегчало Инге?

- Уснула наконец-то, - ответил Саша. - Павел Петрович сказал: это к лучшему. Сон восстанавливает...

Иван Егорович произнес поучительно:

- Из-за тебя и простыла. Морозище-то какой был. А ей все жарко, все расстегивается.

Молчали долго, потом Лазарев произнес со вздохом:

- Долго мне до нее тянуться нужно, Иван Егорович. Интеллигентная, стихи на самых разных языках знает, даже бредила и то не как наш брат. Все уговаривала на медицинский ее отпустить, просила заявление ей скорее написать.

- Куда? От нас? - угрюмо удивился Иван Егорович.

- Да не от нас, это ей все казалось - мирная жизнь.

- Вернется, свадьбу оформим, - сказал Локотков. - Чин по чину, чтобы порядок был.

- А вдруг ее обратно к нам не вернут? - испугался Лазарев.

- Украдешь, как Гурьянова, тебе не привыкать...

- По-старинному, увозом, - усмехнулся под мерцающими звездами Саша. -

Что ж, сделаем...

Потом предложил:

- Покурим, Иван Егорович? Я табачку разжился натурального, слабенькая махорочка, беленькая, и что-то в нее подсыпано. В результате - аромат.

Локотков сел рядом с Лазаревым.

- Ну как? - кивнув на избу, осведомился тот. - Раздаивается?

- Раздаивается.

- Много знает?

- Много, даже очень много.

- Я предполагаю, не меньше Хорвата, - сказал Лазарев, - но, как изменнику, ему страшнее, поэтому и раздаивается с ходу. Так что я ошибку не сделал, его повязав.

Локотков улыбнулся.

- А разве, товарищ лейтенант, у вас какие-либо ошибки в жизни случались? Вы же исключительная личность, безошибочный товарищ...

- Смеетесь все...

Некоторое время они курили молча.

Потом Саша осведомился:

- Как вы считаете, Иван Егорович, в каком звании я войну окончу?

- Я думаю, не меньше маршала, - со смешком ответил Локотков. - Ты ж на генеральстве не помиришься?

- Мне капитаном бы с победой вернуться, - вздохнул Лазарев. - Другие, кто в живых останутся, мои дружки, небось давно капитаны, дальше пойдут, а мне хотя бы капитана...

- Ясно, - поднимаясь, сказал Локотков. - Все ясно, товарищ Лазарев. Иди спи. Отсыпайся за нервный период своей жизни...

Утром к Локоткову пришли "гестаповцы" во главе с товарищем Вицбулом.

Они желали возвратиться в свое подразделение, "отдых", по их словам, кончился, пора поближе к войне. Иван Егорович их поблагодарил пожатием руки: не те были ребята, чтобы целоваться.

- А чего торопитесь-то? - осведомился Локотков.

Товарищ Вицбул усмехнулся.

- Поросенок больше нет, - сказала он, - сардины тоже нет. И петух не дают. До свидания после войны. Приезжайте в город Ригу, будем кушать и выпивать.

- Приезжайте в Таллин! - сказал бывший "гестаповский лейтенант".

- Приезжайте в Тарту, - пригласил третий.

Иван Егорович отметил им командировочные предписания, вывел чернилами: "Выбыл 3.1.1944 года". Помозговал, где бы написать о том, как великолепно выполнили они задание, но на бланке такой графы не было. И пришлось сказать обычную фразу:

- Что ж, товарищи, желаю вам успеха.

- И вам! - сказал товарищ Вицбул. - Если еще раз вы будете делать так, то мы можем приехать. И сначала покушать много свинины.

- Да, - подтвердил бывший "обер-лейтенант". - Это хорошо.

- И сигареты "Фифти-Фифти", - сказал самый младший, в прошлом "гестаповский офицер". - Заезжайте к нам. Мы близко теперь.

В сумерки этого же дня гроб с телом Петушкова, больную Ингу в немецком спальном мешке, Гурьянова, двух майоров и почту проводили на Большую землю. Летчики, узнав об операции "С Новым годом!", поклялись Лазареву страшной клятвой, на паяльнике и плоскогубцах, доставить товарища Шанину "в самый лучший госпиталь" и немедленно написать.

- У нас же авиапочта, - сказал Лазарев. - Регулярность обеспечена.

Ингу он поцеловал в лоб.

- Так с покойниками прощаются. Поцелуй в губы, я не заразная.

Он поцеловал, она закрыла глаза.

- Теперь жди, - услышал он, - слышишь? Я скоро. Я очень тебя люблю. И я поправлюсь, ты не беспокойся.

Лазарев тихо гладил ее по щеке, смотрел не отрываясь в запавшие глаза.

- Какой-то ты мальчишка, - сказала она, - несерьезный человек. И чубчик у тебя мальчишеский...

Локотков тоже влез в машину, но здесь он никому не был нужен. Инга его даже не заметила.

Самолет улетел, майоры увезли пакет полковнику Ряхичеву. Над письмом Виктору Аркадьевичу Иван Егорович трудился истово часа три. Здесь бесхитростно, впрямую высказал он опасения, что в сумятице, которой непременно будет сопровождаться доставка такого гуся, как Лашков-Гурьянов, в благодарностях, поощрениях и поздравлениях главного аппарата забудется судьба Саши Лазарева, еще официально не прощенного и тяжело этим обстоятельством мучимого...

Все выполнил Иван Егорович, что было в его силах и возможностях. Все учел, все обдумал. Не знал он только, что еще тридцать первого декабря полковник Ряхичев погиб от осколка шального снаряда, разорвавшегося рядом с "эмкой", в которой Виктор Аркадьевич ехал по своим служебным обязанностям...

Не зная этого обстоятельства, Локотков все ждал ответного письма, но никак дожидаться не мог. И Лазарев ждал решения своей судьбы, заглядывая после каждой почты в глаза Локоткову.

А Локотков делал вид, будто и невдомек ему, что Саша ждет.

- Инга как? - спрашивал он, утешая Ингиными письмами своего Лазарева. - Приветов хоть мне шлет?..

Приветов Инга слала и скоро надеялась вернуться.

Потом вдруг горохом посыпались новости. Разведчики рассказывали, что в лагере военнопленных в Ассари был митинг подпольный, конечно, по поводу того, что партизаны похитили очень главного немецкого разведчика. Про это же рассказывали и в Раквере. В Пскове, Риге, Изборске плели уж совсем невесть

какие несообразности, но очень лестные Лазареву и Локоткову, там намекали на подручного Гимmlера. А попозже стало с точностью известно, что седьмого января в своем кабинете внезапно скончался оберштурмбанфюрер СС доктор Грейфе, шофер же его, Зонненберг, через час после смерти постоянного своего пассажира отбыл в Берлин.

- Вон в какую политику мы с тобой попали, Саша, - сказал Локотков Лазареву. - Задумываешься?

- Мне нынче задумываться толку нет, - ответил Лазарев печально.

Чтобы не задумываться слишком, Саша теперь чуть ли не ежедневно ходил с подрывниками на выполнение их заданий, таскал тол, детонаторы, выдумывал шальные, но не без здравого смысла, крупные операции. Ерофеев, во всяком случае, выслушивал Александра внимательно, даже когда того и "заносило". И Иван Егорович стал в январе похаживать на диверсионные задания, время было тихое, партизаны на главной базе томились в ожидании грядущих событий, ждали крупного дела.

Двадцать девятого января группа Ерофеева пошла подрывать линию Псков - Карамышево.

- Здесь, бывает, они постреливают для остротки и от собственного страха, - сказал Иван Егорович Саше, когда миновали Большие Бугры. - Не больно высовывайся, был случай, едва отсюда ноги унесли. Место опасное...

- Самое опасное место в жизни человека - это кровать, - ответил Саша, - в ней чаще всего умирают. Парируйте, Иван Егорович.

Иван Егорович парировать не стал, Сашины слова принял на вооружение. И подумал, что после войны займется культурой, будет читать побольше. А Лазарев, не останавливаясь, болтал:

- И еще имеется такая мысль, но я считаю - спорная, будто любой героический поступок начинается тогда, когда человек перестает думать о себе. А любое проявление трусости - когда человек начинает думать только о себе...



- С чего это ты у нас такой умный стал?! - удивился Локотков. - Словно бы академию окончил...

- Это не я, это Инга, - с досадой ответил Саша, - она еще летом все мне разные мысли рассказывала, подымала до себя. Она знаете какая образованная. Но я тоже ничего, она сама отмечала, что я способный...

Потом Саша рассказывал про Вафеншуле.

- Интересно, Иван Егорович, как они своим диверсантам волевые качества прививают, я с ними в Халаханью ходил, смотрел. Например, сажают будущего разведчика на камень заминированный, а фитиль уже горит. Фельдфебель всех других уводит в укрытие, а ты - сиди. Не смей с камня подняться. Только по свистку, когда фельдфебель свистнет. Тогда срывайся и падай: до укрытия все равно не добежать. Кошмар и жуть.

- А зачем ты ходил?

Лазарев помедлил с ответом.

- Слышал вопрос?

- Себя проверял, - немножко смущенно произнес Лазарев. - Свои нервы.

- Ну и дурак, - добродушно, сказал Локотков. - Долбануло бы каменнойгой, и прости-прощай наша операция. Авантюристические какие-то у тебя замашки, Александр Иванович...

- Это есть, - согласился Саша. - Но если иначе жить, тоже плесенью покрыться можно. Я это люблю, по краешку походить.

- Бессмысленный риск - хулиганство, - сказал Локотков, не веря своим словам, ибо кто знает предел осмысленному риску в войне? - Вообще, я замечаю, ты парень хулиганистый, Александр. Не божья коровка.

- А вы бы божью коровку в Печки послали? - тенорком осведомился Лазарев.

Локотков взглянул на Лазарева. Саша вспотел: мешок с толовыми шашками был достаточно тяжел. Повстречавшись глазами, оба они усмехнулись. Понимающе и не без хитрости.

- Ты только не заносись, - посоветовал Локотков. - Скромность человека украшает.

- Думаете? А я слышал, что если человек слишком скромный, то это оттого, что ему есть почему быть скромным...

- Это тоже Инга сказала?

- Она, а кто другой? - не без гордости произнес Лазарев.

- Да я ничего, я и не думаю, что ты сам.

- Удивительно, почему она... - начал было Лазарев и замялся. Потом с прежней дерзостью взглянул в глаза Локоткову и спросил: - Как это ей не скучно со мной, все удивляюсь...

Они стояли на тропке, поджидая своих - Ерофеева и его команду. Было морозно, в сумерках посвистывал ветер, еще бледная луна всходила над далеким Псковом. На станции Карамышево гукнул паровоз. И, словно этот гудок был сигналом, тотчас же слева, из густой купы низкорослых елей, полоснуло сразу несколько пулеметов. Молча Локотков пихнул Лазарева в снег и, едва они упали, услышал короткий стон. А повыше, с той горушки, с которой они только что спустились, уже ударили пулеметы ерофеевских хлопцев, они стреляли короткими, словно вопросительно-ищущими очередями, еще нащупывая, экономя патроны, еще готовясь к бою. Саша еще раз застонал.

- Ранен? - спросил Локотков.

- Не знаю. Наверное. Может быть.

Он пытался стащить с шеи автомат, но не мог, движения его были спутанными, неточными, лицо белело на глазах Ивана Егоровича, глаза уходили...

- Брось, - велел Иван Егорович, - брось, слышишь? Давай берись за меня. Сейчас уйдем отсюда, ничего, еще уйдем...

Ему удалось оттащить Лазарева по неглубокому снегу шагов на полсотни. Пулеметный огонь из ельника поубавился, ерофеевские хлопцы с горушки сыпались вниз, стало слышно, как рвались гранаты. Но Иван Егорович только

потом вспомнил все это: сейчас он провожал Сашу Лазарева.

- Не хочу, - быстро сказал Лазарев, - не хочу я, Иван Егорович. Не хочу умирать. Вы сделайте что-нибудь...

И Локотков делал, но что же он мог сделать? Полушубок уже весь залился черной в лунном неживом свете кровью, в Сашиних легких хлопотало, гас, угасал дерзкий, ничего не боящийся, прямой взгляд.

- Не хочу, когда поверили, - затихая, через силу сказал Лазарев, - не хочу теперь. Ведь лечат же, ведь вылечивают. Почему же я?..

Иван Егорович выстрелил вверх. У него даже индивидуального пакета не было. Да и какой, к черту, пакет мог здесь помочь, когда она уже пришла и встала в лунном свете над Лазаревым, встала, дожидаясь своей близкой секунды? Уж он-то ее повидал - старый солдат Локотков, он видел ее, незваную сволочь.

- Голову мне поддержите, - попросил Саша. - Не хочу так! Не хочу низко. Инга где? Повыше!

Он хотел повыше. Он все еще не сдавался. Он хотел, наверное, увидеть не только небо, но и снег, и бой, и ельник. Но не увидел уже ничего. И тогда Иван Егорович первый раз за всю войну растерялся.

- Погоди, - сказал он торопливо, - погоди, Саша, сейчас придут. Мы вылечим, Павел Петрович сделает. Ты подожди, лейтенант, подожди же...

И тотчас же, опять-таки в первый раз за всю войну, Локотков ослабел. Он уложил Сашу, как ему казалось, поудобнее, выпростал руки из-под его головы, поправил на нем шапку и, сам не понимая, что делает, прилег рядом. И услышал тишину - бой кончился. Но это ему было все равно, он не понял, что бой кончился, он понимал только, что Лазарев умер. И когда подошли Ерофеев со своими подрывниками, Иван Егорович сказал, не замечая, что плачет:

- Унести надо. Умер лейтенант. Убитый.

Встал, покачиваясь, махнул почему-то рукой и пошел один, нетвердо, но после выровнялся и зашагал своим обычным, развалистым шагом, ни разу не

обернувшись. В своей избе он выпил немецкого вонючего трофейного рома, снял окровавленный полушубок и сел на топчан. Наведался к нему комбриг - он молчал и думал. Наведался Ерофеев - он тоже ничего ему не сказал. Пришел доктор Знаменский - Иван Егорович попросил:

- Уйди, Павел Петрович, не обижайся.

Так и просидел он всю ночь в холодной землянке, все курил и думал.

Сидел в шапке, иногда вздрагивал, порою вздыхал. А когда Лазарева хоронили, морозным и солнечным утром, и когда протрещали над могилой автоматные залпы, он опять, как тогда в поле, махнул рукой и ушел один к себе, чтобы написать про Сашин подвиг еще раз по начальству. Писал он долго, стараясь найти слова, которые пронзили бы души, но таких слов, наверное, не нашел, потому что и по сей день ничем не награжден посмертно Александр Иванович Лазарев.

Утром пошел Иван Егорович на могилку, уже осыпанную чистым ночным снегом. И слышалась ему в посвистывании морозного ветра Сашина песня, та, которую он все напевал последнее время:

Там под черной сосной,

Под шумящей волной

Друга спать навсегда полижите...

- Ну, прощай, Саша, - сказал Иван Егорович тугим голосом. - Прощай, товарищ лейтенант. Видишь, как неладно получилось...

Больше он ничего не сказал. А с вечера начались жаркие и длительные бои, немцы бросили на бригаду бесчисленных карателей: видимо, до Берлина действительно дошли сведения о дерзком и небывалом похищении Лашкова-Гурьянова вместе со всеми наисекретнейшими документами Вафеншуле.

Через два дня, когда упорно лезущих немцев отрезали и перебили все в той же Пикалихе, Иван Егорович написал письмо Инге. В немецком поношенном бумажнике Лазарева не было решительно ничего, кроме одной фотографии - Инга

Шанина, босая, совсем еще девчонка, стоит возле какого-то большого и светлого моря.

"Его фотографии не имеется, - писал Локотков, сильно нажимая жестким карандашом на серую бумагу. - А что твоя немножко испачкана, ты не обижайся, Инга, это его личная, Саши, святая кровь. К нам ты больше не вернешься, мы понимаем, что слишком тебе будет здесь тяжело. Ну, выздоравливай.

С коммунистическим приветом

Ив.Локотков".

Уснул Иван Егорович здесь же, сидя у стола, а проснулся потому, что немцы еще подкинули подкреплений и вновь надо было идти воевать.